

**ЛАУРЕАТЫ
ПРЕМИИ
ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА**



№ 13 июль 1976

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА



СМЕНА

Георгий БАЖЕНОВ
Фото Альберта ЛЕХМУСА
Специальные корреспонденты «Смены»

Читатель!

Этот номер «Смены» посвящен лауреатам премии Ленинского комсомола за 1975 год —

рабочим, инженерам, ученым, деятелям искусства и литературы. Маленький золотой знак с надписью «ВЛКСМ» —

высокая награда комсомола.

Награда за творческий самоотверженный труд, за умение отдать свои силы, свой талант, свои знания любимому делу.

Награда — молодым, у кого впереди долгий путь поиска, дерзаний, творчества.

Награда — молодым, кто начал этот путь совсем недавно, но уже заслужил всеобщие почет и уважение —

за трудовую доблесть,

за открытие в науке,

за добрую и умную книгу

или прекрасную музыку.

Рабочий и геолог, конструктор и поэт, математик и балерина —

у них очень разные профессии,

но дело у них одно:

работать для блага и процветания нашей великой Родины.

Один из первых лауреатов премии Ленинского комсомола,

которая была присуждена

ему посмертно,

писатель-коммунист

Николай Островский,

писал в своем неумирающем романе

«Как закалялась сталь»:

«Самое дорогое у человека —

это жизнь.

Она дается ему один раз,

и прожить ее надо так,

чтобы не было мучительно

больно за бесцельно прожитые годы...»

И мы с уверенностью говорим сегодня:

эти слова писателя

стали главным жизненным

принципом для всех тех,

кто носит гордое и почетное

звание лауреата премии

Ленинского комсомола.



ГЛУБОК



Не мог он этому поверить; и состояние было как безумие—выбежал на взлетную площадку, зачем, почему—не знал, не понимал... Помнит только—пронзительный свист мчащегося навстречу самолета, и вдруг оглушительный рев над головой, где-то совсем близко мелькнули шасси, жесткая волна воздуха вдавила в бетонную полосу, и бездонная пропасть ужаса поглотила все его существо...

Что это было?

И даже когда примчался в свой родной Бориславль и там подтвердили: да, это так,—все равно не мог поверить, тем более, что и Любы не оказалось в городе. Он поехал туда, куда ему указали, у нее был траур, умер один из близких родственников, и когда он распахнул дверь и вошел в комнату, Люба сидела на стуле в длинном черном платье, и волосы ее,

золотисто-белесые волосы исконной польки, казалось, пылали. Они смотрели друг другу в глаза, и теперь уже приходилось верить: она полюбила другого...

Что такое любовь?

В Бориславле до сих пор верят, что Толя Мовтяненко совершает трудовые подвиги на Севере только потому, что когда-то очень сильной была у него первая любовь...

Что-то хотелось доказать потом? Доказать всему миру? Доказать своей любви?

Во всяком случае, окончив в Дрогобыче нефтяной техникум и уйдя в армию, Толя после демобилизации даже не взглянул на родину, а сразу махнул на Самотлор.

...Ревет электропривод, надсадно скрежещет трос лебедки, многотонным камнем ахает вниз элеватор, бряцают запоры замков, звенит как будто выстреленная вверх свеча, с бешенством набрасывается на тело свечи автоматический ключ, сотрясается глубинное нутро всей буровой вышки—шум, грохот, скрежет, звон, рев моторов, сипение пара, бряцание замков и цепей, безжалостный северный мороз, жгучие нахлесты ветра и темп, безостановочный темп, ускоряющийся темп работы... Под ногами у Мовтяненко надоедливо возрастает наледь, Толя остервенело бьет каблуками кирзы по обкатистому нахлесту—летят по сторонам брызги льда. Ноги как бы живут сами по себе, существуют сейчас отдельно от бурильщика, им надо—они и следят, скользко или твердо на рабочей площадке, а вот самое главное—это твои руки и твои глаза. Руки бурильщика—его судьба, глаза—сердце судьбы. Немного не хватило до забоя, за две тысячи метров перевалила глубина скважины, но что надо, то надо—менять долото, подыстерлись шарошки, проходка замерла на нуле.

— Валера, спуск-подъем! Врубилась!

В ответ всего лишь полувзгляд первого помбур: Валера Базилевский «вас понял»... Уставший взгляд спокойных—почти до безразличия—глаз Валеры, разудалая улыбка третьего помбура Володи Образенко, жест верхового Бориса Сидоро-

АЯ ПРОХОДКА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СМЕНА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Основан в январе 1924 года. Выходит два раза в месяц.

№ 13 (1179) ИЮЛЬ 1976



Обложка работы
Василия МИШИНА

- 1 «ГЛУБОКАЯ ПРОХОДКА». Фотоочерк Георгия БАЖЕНОВА и Альберта ЛЕХМУСА.
- 5 Стихи Сергея ЧЕКМАРЕВА.
- 6 НАУКА: ГЕОЛОГИЯ. Очерк Вадима ЛЕВСКОГО «СЕРЫЙ КАМЕНЬ СТАВРОЛИТ».
- 8 «ИЗ ИСТИНЫ СТРАСТЕЙ...». Штрихи к портрету балерины Людмилы СЕМЕНЯКИ.
- 12 «МЕТАЛЛУРГИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ». Рассказ о молодых специалистах Подольского химико-металлургического завода.
- 16 «СЕМЬ ЦВЕТОВ «ЦИСАРТКЕЛЫ». Фоторепортаж Василия ЖИЛЬЦОВА и Сергея ПЕТРУХИНА.
- 18 «ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ». Очерк Владислава ЯНЕЛИСА.
- 20 Стихи Эдуардаса МЕЖЕЛАЙТИСА.
- 22 Документальная повесть Гария НЕМЧЕНКО «БЫЛО НА ЗАПСИБЕ...».
- 24 НОВОЕ ИМЯ. Рассказ Константина ГЕРДОВА «ШТОРМ».
- 27 Экслибрис «Смены».
- 28 Повесть Анатолия ЖАРЕНОВА «ФАМИЛЬНАЯ РЕЛИКВИЯ».

Главный редактор А. А. Лиханов

РЕДКОЛЛЕГИЯ: В. С. Абашин, А. П. Кулешов, В. В. Луцкий (заместитель главного редактора), Г. Л. Немченко, В. Г. Победоносцев (ответственный секретарь), Р. И. Рождественский, Е. И. Рябчиков, В. А. Саюшев, Г. В. Семенов, А. П. Серeda, Д. Н. Филиппов.

Художник О. С. Теслер.

Технический редактор Л. И. Курлыкова.

© Издательство «Правда». «Смена», 1976 г.



ва—вахта готова для подъема инструмента, лишних слов не надо; рядом, всегда готовый помочь, электрик Юра Гринин.

Толя Мовтяненко врубает рычаг—болванка элеватора стремительно несется вниз; легкие довороты рычага—усмиряется бешеный танец скорости, элеватор плавно наплывает на торчащую из скважины свечу, Базилевский с Образенко направляют замок на тело свечи, щелкают затворы—свеча захвачена. Новый поворот рычага—со скрежетом и стоном потянул элеватор из чрева земли громадину двухтысячметровой колонны, вытянул на длину одной свечи—на двадцать четыре с хвостиком метра,—и тут уж стоп, родная; Толя Мовтяненко дожимает тормоз до упора. Только еще содрогнулась свеча от резкой остановки, а уж Базилевский на своем пульте дает ход автоматическому ключу, со змеиной стремительностью бросается ключ к свече, железными челюстями перехватывает ее горло и ловко, вертко, как лампу из патрона, выкручивает свечу из колонны. А уж там, наверху, на полатах, Борис Сидоров захлестнул свечу жгутом, будто аркан на нее набросил. Чуть дал Мовтяненко ход элеватору, поднялась малость свеча вверх, нижний ее край обхватили Валера с Володей и, налегая телом, прижимаясь брезентухой к синошной, в подтеках раствора, родной свечечке, загоняют торец в свободный угол площадки. Еще дожим рычага—свеча плюхается на свое законное место, а вверху, на полатах, Сидоров подтягивает уже верхний край к себе и пристраивает его вдоль загнутого вовнутрь пальца. Одна свеча на месте.

Свеча за свечой, минута за минутой, час за часом, без отдыха, без перерыва на обед—разве только

**МОЛОДЫЕ БУРОВИКИ
САМОТЛОР,
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА
АНАТОЛИЙ
МОВТЯНЕНКО
И РАФАТ ЮСУПОВ.**

подменишь один другого, в задубевших брезенту-хах, чумазы, с паутиной морозного инея на бровях и ресницах, насквозь обожженные ветром, с растекающейся ватностью в мышцах—ребята Толи Мовтяненко выдают на-гора всю многотонную громаду разъемного в свечи инструмента, пока не покажется из зева скважины долгожданное доло-то...

— Валера, новое!

Открутили старое долото, а новое не подходит. Мовтяненко пробует резьбу на оцупь: каменное лицо, серьезный, в мрачность, взгляд, сдвинутые к переносице густые черные брови—лицо мужчины.

— Резьба дрянь. Меняем переводник.

И снова, как бешеный, бросается вперед автоматический ключ, выкручивает переводник; устанавливает новый переводник, вкручивают долото.

— Спуск, ребята. Врубались!

Начинается прежняя песня, только на обновлен-ный мотив. Девяносто свечей, громада метров и металла, девяносто сигарообразных спаренных труб нетерпеливо ожидают, когда их одна за одной вгонят в глубинное чрево скважины; начинается адская пляска работы...

Сколько там осталось до конца вахты?

Почти всю смену ухлопали на спуск-подъем. А расслабиться и останавливаться нельзя. Тут же меняют элеватор на вертлюг, накручивают на трубу квадрат—начинается бурение скважины...

И вот так через каждые 120—130 метров проходки поднимают весь бурильный инструмент наверх, а потом опускают вниз, только чтобы заменить долото. Не заменишь—бурение стоит на месте, заменишь—продвинешься в глубины земли на сотню метров. Такова тайна бурения, такова их работа...

Мелко и ритмично подрагивает грязевый шланг, гудят насосы в насосной, гонится по трубопроводам раствор—идет бурение... На далекой глубине 3-ша-рошечное долото врзается в породу, и метр за метром земля отступает под натиском человека. Еще немного—и будет забой, конец скважины, расчетная глубина нефтеносного пласта...

Внимательные, суровые глаза Мовтяненко; силь-ные, жилистые руки; мрачность от чрезмерного напряжения; скупое слово; скупой жест.

Вот все спрашивают, как добиться такого успе-ха... Ведь это не шутка—премия Ленинского комсо-мола. А тут немало объясняют даже цифры. Что и говорить: 17 с половиной тысяч метров проходки на вахту Мовтяненко—это, конечно, 17 с половиной тысяч. Цифра астрономическая. Больше вахты Мовтяненко никто в прошлом году в бригаде не сделал. А вахт в бригаде—восемь. А сама бригада недосыгаема пока для других комсомольско-молодежных бригад страны. Когда-то вдохнул в нее дух первенства знаменитый буровой мастер Виктор Китаев. Когда-то...

...Бригадное собрание бушевало. Такого собрания не было еще на их памяти. Что случилось с бригадой? Почему упала трудовая дисциплина? Отчего затихла комсомольская жизнь? Где помощь активу новому буровому мастеру бригады Леониду Титову? Да будь у него хоть семь пядей во лбу, без помощи треугольника сплоченности в коллективе не будет. Как понимать сегодняшнее пассивное отношение членов бригады к работе? К обществен-ной жизни? К рабочей дисциплине? Что случилось? Ну хорошо, понятно, у нас сменился мастер, у нас теперь новый человек. Так это что, своего рода протест, что ли? Был у нас «железный» Китаев—у него своя манера руководить, он любил требовать, спрашивал с нас за любую мелочь по большому счету, это был человек широкого размаха, сильной воли, неумной энергии. Теперь у нас новый ма-стер—Леонид Титов. Разве он не нравится нам? Нравится, хотя это и совсем другой человек. У него свой стиль руководства. Он доверяет нам во всем, ждет от нас самого главного—сознательного отно-шения к своим обязанностям. А мы чем платим? Мы, видите ли, почиваем на заслуженных лаврах. Успокоились. Работаем с прохладцей. И даже, бывает, покрываем нарушения трудовой дисципли-ны. В прошлом году в социалистической соревнова-нии комсомольско-молодежных бригад страны мы заняли первое место. Первое! Пробурили 102 тыся-чи метров горных пород! Успешно применяли прогрессивные методы труда—работали восьми-вахтовкой. Хвала нам и честь. А кто в стране выросил сразу двух лауреатов премии Ленинского комсомола в одной бригаде? А нам это удалось. Почему? Потому что усилия каждого в бригаде

были направлены на одно—добиться максималь-ной проходки и победить во всесоюзном соревнова-нии. Мы все знаем, наша работа коллективная, и то, что двое из нас стали лауреатами,—это прежде всего успех всей бригады, наш общий праздник. Так? Так. В этом году мы взяли обязатель-ство—пробурить 125 тысяч метров. Почти на 25 тысяч больше, чем в прошлом году. А что это значит? Это значит предельная собранность каждо-го, жесткий режим экономии во времени, безуко-ризненная трудовая дисциплина. Выполним ли мы свои обязательства? Безусловно, выполним. Но как мы это сделаем практически? Будем раскачивать-ся? Будем пенять на то, что у нас изменения в составе бригады и по этому поводу нам, мол, можно немного похандрить? Нет, мы не можем этого допустить. Кто за то, чтобы объявить жесткую войну прогулам и раскачке? Единогласно. Кто за то, чтобы проявить максимальную сознательность и поддержать начинание нового мастера—строить работу бригады по принципу взаимного и глубокого доверия? Единогласно. Кто за то, чтобы каждый член бригады считал своей заповедью: руководство к действию—твоя совесть? Единогласно. Итак, мы торжественно обещаем неуклонно продолжать со-циалистическое соревнование и пробурить к концу 1976 года 125 тысяч метров горных пород. Кто за это предложение? Единогласно.

...За окном вахтового автобуса родной самотлор-ский пейзаж. Летом—болота и мошка, зи-мой—ожого мороза и свист метели. За окном поземка. А в автобусе топится печка, монотонно-натруженно гудит мотор. Тепло. Покачивает, убаю-кивает бетонная дорожка... Вахта сдана—вахта принята. Можно расслабиться—сладко бежит впе-ред всегда такая желанная дорога домой...

Так как же добиваются большого успеха?

Первая любовь? Смешно. Губы раздвигаются в полусонной улыбке. Первая любовь бывает у всех, но не у каждого залеживается в кармане по семна-дцать тысяч метров проходки. Да и не в проходке дело... А в чем? А в том... да-а, хорошо вот сейчас ехать домой, гудит уставшее сердце... Хорошо сей-час дома, вот где хорошо—так хорошо, Ленча там его ждет с сыном. Кто родней на свете жены и сына? Завтра бы вот в баньку всей вахтой, тут уж, конечно, Ленча скажет свое: «В баньку? Вахтой? Опять потом про ролики с валиками?» Раздвига-ются губы в улыбке. Это точно, есть тут у них один главный спец по роликам и валикам—Володя Об-разенко. Мудрый обтиратор придумать хо-чет—главная цель жизни получается, особенно если после баньки разговор заходит... Обтиратор, обтиратор... спипаются веки... Белая ли дорога впереди, или это волосы белесые распушились на ветру, или это снег на Карпатах блеснул...

Карпаты?

А-а, Карпаты... да, что было, то было... Детство, оно у каждого вживе, счастливое и странное наше детство... Вот, помнится... Или нет... ведь это мать настаивала, чтобы он учился на нефтяника? Нет, не в этом дело, главное, в нем самом, в Толике, жила странность одна—тянуло к буровым вышкам. Про-хот вечный, скрежет, мощное ухање, азартные покрикивания—тайна какая-то... Именно тайна его волновала. Нет большего соблазна для детской души, чем тайна взрослого мира, тайна всамделиш-ных забот и тревог. Им было тогда, уличным пацанам, по двенадцать, а они у себя в Бориславле, подальше от жилых построек, в виду сверкающих белизной Карпат строили свою, настоящую буро-вую вышку. Даже количество ступенек извива-ющейся вверх лестницы было вравну с вышками взрослых. И пусть неуклюжая и странная получи-лась у них вышка, но получилась, и, главное, работали они на этой вышке. Приспособились, ну, скажем, не бурить, так долбить скважины—до десяти метров в глубину уходили!

...Вспыхивают звездочками в заснеженной дали огни Нижневартовска—ехать с вахты шестьдесят, а то и все восемьдесят километров, увидишь мель-кнувшие огни города—это тебе как знак: хватит дремать, скоро дом, встряхнись маленько. Бежит и бежит навстречу бетонная дорога, до города ружой подать, и ребята потихоньку начинают готовиться на выход...

А если откровенно, интересная одна штука полу-чается. Есть в Нижневартовске хорошая шко-ла—самая старая в городе, чистая, уютная—школа № 3, и был там в свое время 4-й класс «А»; теперь ребяташки уже подросли, в седьмой ходят, а тогда... Ну, есть такое дело—шефство буровиков над уче-никами, но почему именно Толик Мовтяненко, молодой совсем парень, возился с ребятами больше других? Чем он подкупил ребят? Был с ними на равных, настоящий, открытый, бесхитростный. И серьезный. А они для него... Вспоминалось ему свое детство, вышка в виду сверкающих белизной Кар-пат, яростная ребячья страсть добиться сво-его—пробурить собственную скважину... С ребята-



ми легко. Ведь маленький человек, он всегда подкупает, почти завораживающе поглощен понравившимся делом, неподдельно добр и открыт в своих симпатиях, его мир ясней и, пожалуй, полней, если вспомнить ребячью страсть без конца что-то выдумывать, изобретать, изменять, строить. Не один раз Толя Мовтяненко возил своих пионеров, а в то время он был у них вожатым, на буровые лазили ребята, и на полати к верховому, и на самую макушку буровой, и поняли, конечно, что работа бурильщика тяжелейшая, ответственная и опасная. Тем дорожке однажды оказалось для Толи тайное признание пацанена Коли Колодязного: «Страсть охота бурить попробовать. Бурильщиком хочу...»

Что тут было чувствовать Мовтяненко? Когда-то, ничего еще не понимая в жизни, он мечтал бурить свои скважины, а сегодня новый мальчишка, как эхо, повторяет его мечту...

Мовтяненко ребята из нынешнего 7-го «А» любят не простой, а даже легендарной любовью, приписывают ему не только его личные заслуги, но и кое-какие общие... Вот, говорят, когда Толик был на Всемирном фестивале молодежи, он там видел шотландцев, есть такая нация, так мужчины в этой нации с косичками ходят... С косичками? С косичками. Не может быть! Нет, может! Он сам рассказывал... Они не то что там с косичками, они в юбках ходят. Что-о?.. В юбках. Да вы что? Точно!

А Толик и не бывал на фестивале; был там другой человек из бригады — Рафат Юсупов. В 1973 году. И много потом рассказывал разных чудес про разные чудесные нации...

Рафат Юсупов? Да, Рафат Юсупов — второй сегодняшний именинник в бригаде. Вместе с Толей Мовтяненко помбур Рафату Юсупову присвоено высокое звание лауреата премии Ленинского комсомола.

...И вот давай за свое, поехали да поехали, старуха, чего дома сидеть, насидимся еще, успеется, а съездить — оно бы вон как хорошо получилось. О сыне везде звон-перезвон, а мы знать ничего не знаем, что за работа у него за такая, и медали ему, и за границу первый посланец, и премии присуждают... Вроде даже как и не сын наш, сорванец, а большой государственный человек... А что матери сказать? У матери у самой сердце изболелось, это подумать только, куда сын забрался, там, говорят, птицы на лету замерзают, а уж что от человека остается, наверно, и представить нельзя... Покачала, покачала головой да и согласилась, конечно, со стариком. Поехали. В Нижневарттовском порту встретил их северный хозяин — леденящий мороз. Хорошо, из аэропорта к праздничному столу угадали, а то бы когда еще отогрелись от северной стужи.

Ну, так, так... Хорошо, сын, живешь, молодец... жена, двое детишек, квартира двухкомнатная, так-так... тепло, уютно... это хорошо... Ну, а все же, сын, медали-то и премии за что дают? Не за то ж, что в тепле живешь, гостей можешь принять, как настоящий мужчина? А? Не за это же?

— Не поймешь тут, отец, сразу трудно понять... Как это не пойму? Ты скажи, когда старый Рафат чего-нибудь не понимал?

Отец — это отец. Пока собственными руками не потрогает — не поверит. Делать нечего: повез Рафат отца на буровую вышку...

Ага, вот она, значит, какая, вблизи-то... Страшная, в подтеках сосулисто-мгlistого льда, в клубах пылящего пара, что-то там тренькает, ухаает, сипит... И что к чему — ничего не понять.

Пока ребята сдают и принимают вахту, Рафат молчком прицеливается к вышке — в доверие к ней хочется войти, чтобы потом уж ее разом — и она у тебя на лопатках, пощады просит. Ладно, поглядим, посмотрим... Значит, это вот вышка. Та-ак... А ну-ка, если вверх по лестнице, за ребятами... Главное, что внутри там, за брезентовым кубиком, посмотреть охота. Ребята юрк туда — и скрылись, и чего они там такое делают — это и есть их тайна. Забрался Рафат по лестнице, тут проем такой, сунул голову — и тут ка-ак жажнет «пушка»! Отпрянул старый Рафат. Не иначе как стодвадцатипяти-миллиметровка бьет. Фронт, значит. Это понятно. Шагнул Рафат под брезентовое укрытие. Вроде как и незаметно стоишь, а в то же время снайперски ко всему пристреливаешься. Прямо перед носом шланг такой изгибистый дрожмя дрожит, и туда его и сюда водит, один конец наверх уходит, к остову вышки крепится, а другой на вертлюг намертво насажен; от вертлюга вниз квадрат спускается, четырехгранная такая труба, наворачивается квадрат на свечу, а свеча в скважину уходит. Та-ак, понятно... Сын Рафат у пульты стоит, сосредоточенный и собранный, будто в руках его охрана мира, никогда таким видеть его не приходилось... Он ведь человек какой? Добродушный, улыбочный... А тут на отца не смотрит, на стрелки поглядывает, главного своего начальника Геча слушает — бурильщика вахты. Тот что-то скажет, Рафат с места срыва-

ется, мимо открытого зева лебедки пробегает и вниз куда-то юркает, с другого боку брезентового укрытия. Пробрался туда и Рызан. Вон чего. Тут желоб такой, а по желобу раствор бежит...

— Что за раствор-то, сын? — Раствор? Как что за раствор? — Сын бегаёт то туда, то сюда, а между делом одно-другое слово скажет. — Это, отец, всем растворам раствор. Не будь его, и бурения бы не было. Да и нефти тоже. Хитрый раствор. Мы его из насосной гоним через этот вот шланг в квадрат, из квадрата по свечам раствор на дно скважины загоняем под давлением, а там, внизу, вроде как турбина вращается, турбобур есть такой, а на конце у него долото с тремя шарошками, долото, значит, и врезается в породу, идет бурение...

— Понятно, сын. — Это еще не все. Там, внизу-то, страшные штуки встречаются... Буришь да буришь себе, а там вдруг сеноман, газ вроде такой... Не задавишь его раствором — быть большой беде. Он по скважине, как джинн, фью-ить только наверх — и пошел, пошел... А тут достаточно одной какой-нибудь искры — и вся вышка на воздух сыграет. Понимаешь, одной искры?

— Понятно, сын. Опасно работаете... — Опасно, отец... Так на то и работаем и в оба глаза смотрим, чтобы не прозевать беды.

— А бывает? Случается? — Как не бывает... Работа, отец, это — живое дело. До взрывов не доходило, а сеноман вырывался... Правда, у нас подстраховка есть — превенторный механизм. Если сами проморгаем, он свое слово скажет — задавит сеноман.

— Понятно... Одно непонятно, как ребята держатся на таком собачьем холоде и пронзающем насквозь сквозняке? Или не показывают вида? — Сам Рызан продрог до костей, а долго ли простоял на рабочей площадке — всего-то самую малость. — Я, значит, сын, того, пойду погреюсь...

— Ну да, отец, давай, во-он туда, в культбудку или в столовку загляни, там оно получше...

Нет, в самом деле, так и кажется, что ребята не мерзнут. Нипочем им холод. Или... кто же это однажды из них сказал: «Сколько живу здесь, а все не могу привыкнуть к холоду. Мерзну». — «Ну, а как же тогда работаешь?» — А так... Тело не привыкло, душа привыкла. Не замечаю...

Вон как получается, тело-то и у них, оказывается, не привыкло. Душа привыкла.

Душа? Выходит, значит, душа. Хоть так поворачивай, хоть этак, а лучше не скажешь. И рукавицы насквозь в растворе, и лица в синеву, и кожа задубела, и ноги в кирзе по ледовым нахольникам скользят, а они знай работают...

Спустился Рызан вниз, зашел в зеленый вагончик. Горячими щемами пахнуло, дух поджаристой рыбки разносится... Это хорошо — горячий обед... Вот человек, ведь к теплу его тянет, а он все равно чего-нибудь да себе придумает. Или как тогда его понимать?

Если всех сыновей да дочерей пересчитать, у них с матерью ведь их десяток наберется. Это не шутка в жизни. А Рафат, он всегда был как-то на особицу. Взять хоть то, что в их краях и ведают не ведали, что за дело такое — нефть добывать. Ну, тянули неподдающую от родной Николаевки нефтепровод «Дружба». Так то ж нефтепровод, не вышка. Мало ли — трубопровод и трубопровод, интересного не так много. Ну, бывало еще, воду искали поблизости, маленькие такие БУ смонтируют — и давай бурить-долбить. Так то вода опять же. Короче, когда Рафат в 64-м году поступил в нефтяное училище, среди родных немало было переполоху. Непонятно, ни шофер, ни тракторист — что за специальность такая?

Ладно, так или иначе закончил Рафат училище, уехал в Казахстан, на Мангышлак. Приезжал домой в отпуск — смеется.

— Ух, и развеселая работа! Представь, отец, пески, жара, палящее солнце, вышка... Чуть только куда мастер пропал — с ходу робу с себя скинем и в одних плавках да касках работаем. А жара... а пить охота... а воды питьевой своей нет, только привозная. Одно спасало — шутками да смехом утоляли жажду. Только я пришел тогда на вышку, верховой кричать мне: «Эй, парень!» «Чего?» «А ну-к, сбегай в насосную, тащи емкость пару!» Я с ног сбился, скорей в насосную... А когда вернулся, мрачней тучи, — на вышке хохот стоит, по всей пустыне эхо разносится... А чего? Приходилось быть козлом отпущения, раз глуп был по молодости. Или вот еще... там от манифольдной линии шланг идет к вертлюгу, а в нем раствор гонят, шланг, конечно, прыгает-скачет, как козлиная борода... А ну-ка, Рафат Рызанович, говорят мне, что такое, почему шланг дрожит, а ты на месте стоишь?! Сейчас же хватай и держи крепче, чтоб он ни-ни, а то еще, не дай бог, взрыв ахнет! Ну, я держать, конечно.

Держу, как дурак, эту дуру, а попробуй удержи, чтоб не прыгала да не скакала... В общем, работа у бурильщиков веселая, некогда робу сушить от седьмого пота...

А потом как было? Пришел в 71-м году Рафат из армии, женился в десять дней — он всегда скор был на руку — и укатил на Самотлор. А там все новое, неизученное, трудное — в самый раз на молодую душу, жаждущую утвердить себя. Может, конечно, и повезло немало: попал почти сразу не в простые руки, а в золотые — руки бурового мастера Китаева. Они первые из комсомольско-молодежных бригад страны перешагнули сотысячметровый рубеж проходки, добились выдающихся достижений в соцсоревновании. И верным помощником Китаева всегда был Рафат Юсупов, бригадный комсорг. Вместе с Китаевым бурил Рафат и интернациональную скважину в 72-м году, вместе ездили в Москву за очередными наградами, вместе их отправили и на Всемирный фестиваль молодежи в Берлин...

А теперь Рафат — лауреат высшей премии комсомола.

Вон чего добился его сын... Да, молодец сынок. Молодым рукам, понятное дело, нужна прежде всего самостоятельность.

Другое непонятно... Старик Рызан усмехнулся. Вот он сидит тут, ест горячие щи, вспоминает... А ведь главное-то так и не спросил у сына: где же нефть на буровой? Что-то ее не видать нигде, а говорят, нефть добываем... Странно, ходил, смотрел, соображал чего-то, а главное так и просмотрел...

Поднялся Рызан, закутался вновь потеплей да и вышел смело на стужу. Свистит пурга, яритесь мороз, потрескивает в малых озерах лед, а вышка все так же живет, дышит и трудится. Страсть неохота наверх лезть заново, да гордость свое берет: как так, в самом пекле побывал, а о нефти ничего и не понял... Полез наверх.

Только было сунулся на рабочую площадку — опять ка-ак жажнет, пши-и-и... ах-ах, пши-и-и... ух-ух... Вроде и привык малость, а вот опять вздрогнул... Ну, это бы, наверное, каждый с непривычки. С непривычки здесь вообще, кажется, долбанет тебя чем-нибудь покрепче или на крюк какой подцепит — виси-отдыхай потом... Рызан смотрит — на площадке уже другое что-то происходит. То шланг внизу дрожмя дрожал, а тут его наверх загнали, а из скважины квадрат торчит... У пульты сын Рафат стоит, повернул рычаг — на квадрат ключ надрывнулся, еще раз повернул — дзынь-цап-цап, закружил ключ квадратную трубу вокруг своей оси... вывернул. Помбуры подхватили низину квадрата и в шурф заправили. И-и-эх — полетел вертлюг вниз, тут его отцепили — лед сделано. Можно наращивать инструмент... Что это такое?

— А это, отец, пробурили мы, значит, скважину на двадцать с лишком метров, можно колонну ниже опускать. Сейчас наростим еще одну свечу, а там дальше забуримся...

— Понятно... Ну, а нефть-то где? — Какая нефть, отец? — Как какая? Которую вы добываете? — А мы, отец, нефть не добываем. — Вот так да... а что же вы тогда делаете? Сын смеется...

— А мы, отец, скважины бурим. У нас нефти не увидишь. Во-он в сторонке конструкция такая, батарея называется... Пробурием мы вот так восемь скважин подряд, через каждые три метра, опустим колонны, а дальше уже освоенцы идут, освоют скважины, подготовят каждую для отдачи нефти, а потом подсоединяют батарею к коллектору — потекла нефть куда ей надо, куда человек направит...

Намерзся в эту вахту старый Рызан до последнего предела; ни руки, ни ноги не слушаются... Еще будет впереди разговор со старухой, будет его ругать на чем свет стоит, и куда, мол, ты, непседа, поехал — на буровую, на мороз, на стужу... Смотри, вот подхватит тебя хворь, сляжешь в постель, ну тогда я тебе... А пока Рызан блаженно отогревается в теплом автобусе, возвращается вместе с вахтой сына в город...

— Ну как, батя, понял чего-нибудь? — Понять-то я, конечно, ничего не понял, но одно понял точно...

— Это чего, батя? — А то чего, что работать, когда крыши нет над головой, это, брат, никак невозможно работать! Вахта весело смеется...

На другой день засобирались старики домой, на родину. Так вдруг потянуло в родные места — никакого на них удержи... Только собрались провожать родителей, срочная телеграмма — Анатолий Мовтяненко и Рафат Юсупов вызываются в Москву для вручения им премии Ленинского комсомола.

Ну что ж, можно сказать, повезло: полетят все вместе. И быть по сему — отцы уезжают на родину, на заслуженный отдых, а сыны — в Москву, за высшей наградой Ленинского комсомола.



Сергей ЧЕКМАРЕВ



Короткая биография лауреата премии Ленинского комсомола поэта Сергея Чекмарева могла бы уместиться в нескольких строках. Родился в 1910 году, учился в средней школе в Москве, окончил сельскохозяйственный институт, добровольцем поехал в Башкирию — зоотехником во вновь организованный мясовыводхоз.

В 1933 году Сергей Чекмарев трагически погиб от вражеской руки. Это была смерть солдата на боевом посту.

Поэзия Сергея Чекмарева — волнующая исповедь комсомольского поколения 30-х годов. «Жизнь и поэзия — одно», — писал Сергей. Его стихи не только воскрешают для нас прошлое, но и помогают строить будущее.

Заря в коммуне «Обновленная земля»

Представьте:

теплый и мягкий хлеб, еще отдающий золой и печью.

Представьте:

чистый и светлый хлев и в прорези милую морду овечью.

Представьте:

низкий, угрюмый лог, ветер, свистящий по ряби луга.

Представьте:

простой человеческий лоб, четверка коней, ружья пуга.

И, свистя

на все голоса, поворачивая с тракта,

сюда приближается к пашне сам

товарищ трактор. Зачем он идет? Ведь вечер уже? Ведь кони идут на покой?

Но трактор взаправду гудит на меже

и пашет, чужак такой!

Прямыми рядами ложатся пласты, и таит в воздухе серый дым,

под этим небом, седым и простым, над этим лугом, простым и седым.

Ты чем так встревожена, синяя даль?

Зачем твои звезды горят?

Тебя проезжают и плуг, и рондаль.

Они меж собой говорят: «Нас в дыме

и гуле рабочий ковал, бил молот,

и ныло плечо.

Задача наша теперь какова?

В работе жить горячо!

Рабочий сердце вкладывал в труд.

Он думал коммуна помочь.

Так что же должны мы делать вот тут?

Работать день и ночь!

Пройдем же еще вон той стороной.

Нацелим железо в упор».

Так у трехкорпусного с бороной дружеский шел разговор.

Штурмовой квартал

По черным лесам, по огромным равнинам,

Во всех концах необъятной карты

Гудят призывы: «Кадры нужны нам!

Кадры дайте! Дайте кадры!

Нужны инженеры! Врачи! Агрономы!

Нужны зоотехники! Директора!»

Мы землю заставим глядеть по-иному.

Проходят комбайны, гудят трактора!

Мясо-молочный! Мясо-молочный!

Это к тебе обращен призыв.

В работе огромной, горячей и срочной

Бейся же лучше, бери призы!

А как мы поем октябрьские песни!

Довольны мы перечнем наших побед?

Обезличка изжита? Прогулы исчезли? Хвосты уничтожены?

Все еще нет! Комсомол

лозунг дал боевой:

Четвертый квартал даешь штурмовой!

Все силы вложим в один порыв,

Мясо-молочный, штурмуй прорыв!

Покажем примеры ударной учебы,

Чтоб наша стройка шла горячо бы.

За качество знаний! За темпы!

Боевая закалка нужна зоотехнику.

Оппортунистов бита карта!

В работе, в учебе будем метки!

Даешь четвертый ударный квартал

Третьего года пятилетки.

Была весна

Звонко зазвенел, паровоз заорал.

Бригада студентов — мы мчим на Урал.

Вагоны набиты, и полки тесны.

Мы — солдаты второй большевистской весны.

Грустить или плакать нам нету причин.

Мы спорим, смеемся, поем

и кричим.

О чем-то, о чем-то поют буфера!

О том, что готовы и ждут бункера.

По чем-то, по чем-то грустит чернозем?

По умным по книжкам — а мы их возем.

Посеянные озими соскучились в грязи.

Вези же нас, поезд, вези, вези!

Баллада о простоте

Однажды мне встретился старый поэт —

Звезды яркие и ночь тепла —

И пока глаза не раскрыл рассвет,

Беседа наша текла.

И он сказал: «Не такие, мой друг,

Я раньше писал стихи —

В них слышались лиры тончайший звук

И рокоты всех стихий.

Я был от вершины уже на вершок

И был знаменитый почти,

Когда однажды рабочий дружок

Меня попросил: «Прочти!»

Строками бушуя, словами звеня,

Я в рифмах своих закипел.

Он, молча склонившийся, слушал меня,

Ударник и член ВКП.

И когда, прочтавши сонетов пяток,

Я хотел его одой донять,

Он тихо сказал мне: «Довольно, браток.

Я вижу: мне не понять».

И понял я в единый миг,

Пока глядел ему вслед,

Что все мои кипы написанных книг

Тяжелый, ненужный бред.

Так что же я сделаю?

Как снесу?! Я сгорел от стыда...

И я с тех пор зарубил на носу:

Да здравствует простота!

О нет, конечно, не та простота,

Что хуже воровства,

Нет, не такая, а простота,

Которая с жизнью росла.

Она проста, она глубока

И вместе с тем строга...

Она человека берет за бока,

Как быка за рога».

Поэт окончил. Его рассказ

Я, как завет, берегу.

И пусть не срывается вычурных фраз

С моих еще юных губ.

Где я? Что со мной?

Ты думаешь: «Вести

В воде утонули,

А наше суровое

Время не терпит.

Его погубили

Кулацкие пули,

Его засосали

Уральские степи.

И снова молчанье

Под белою крышей,

Лишь кони пронесаются

Ночью безвестной.

И что закричал он —

Никто не услышал,

И где похоронен он —

Неизвестно».

Товарищ! Не верь же

Вороньему карку,

Отбрось ворожеи

Седы приметы.

Купи на Кузнецком

Уральскую карту,

Вглядишься в разноцветные

Миллиметры.

Возьми прогляди

Оренбургскую ветку.

Ты видишь, к востоку

Написано: «Еткуль».

Написано: «Еткуль»,

Поставлена точка,



Наука: геология

СЕРЫЙ СТАВ

Вадим ЛЕВСКИЙ

«Холодно, все время моросит дождь,— писал Федькин жене с Кольского полуострова.— Проводник рассказал, где может быть мой ставролит. Радостного мало— кажется, в одном месте и то далеко. Может быть, удастся сбежать туда дня на два. А в основном этот район для меня почти бесполезен. Завтра будем добираться до Пибозера...»

С Камчатки: «Приехал Маракушев. С ним работать одно удовольствие, если не считать того, что рядом с ним чувствуешь себя бездарью...»

Из Приладожья: «Ходим на резиновой лодке под парусом. У нее особенность— идет только по ветру. А ведь смысл в том, чтобы идти против ветра...»

Из Карелии: «Тропа идет по трясине, и где-то под водой лежат жердочки, по которым нужно идти, чтобы не провалиться...»

Это была его жизнь, полная сомнений и поисков. Он должен был «разговорить» СВОЙ ставролит.

ЖИЛ-БЫЛ КАМЕНЬ

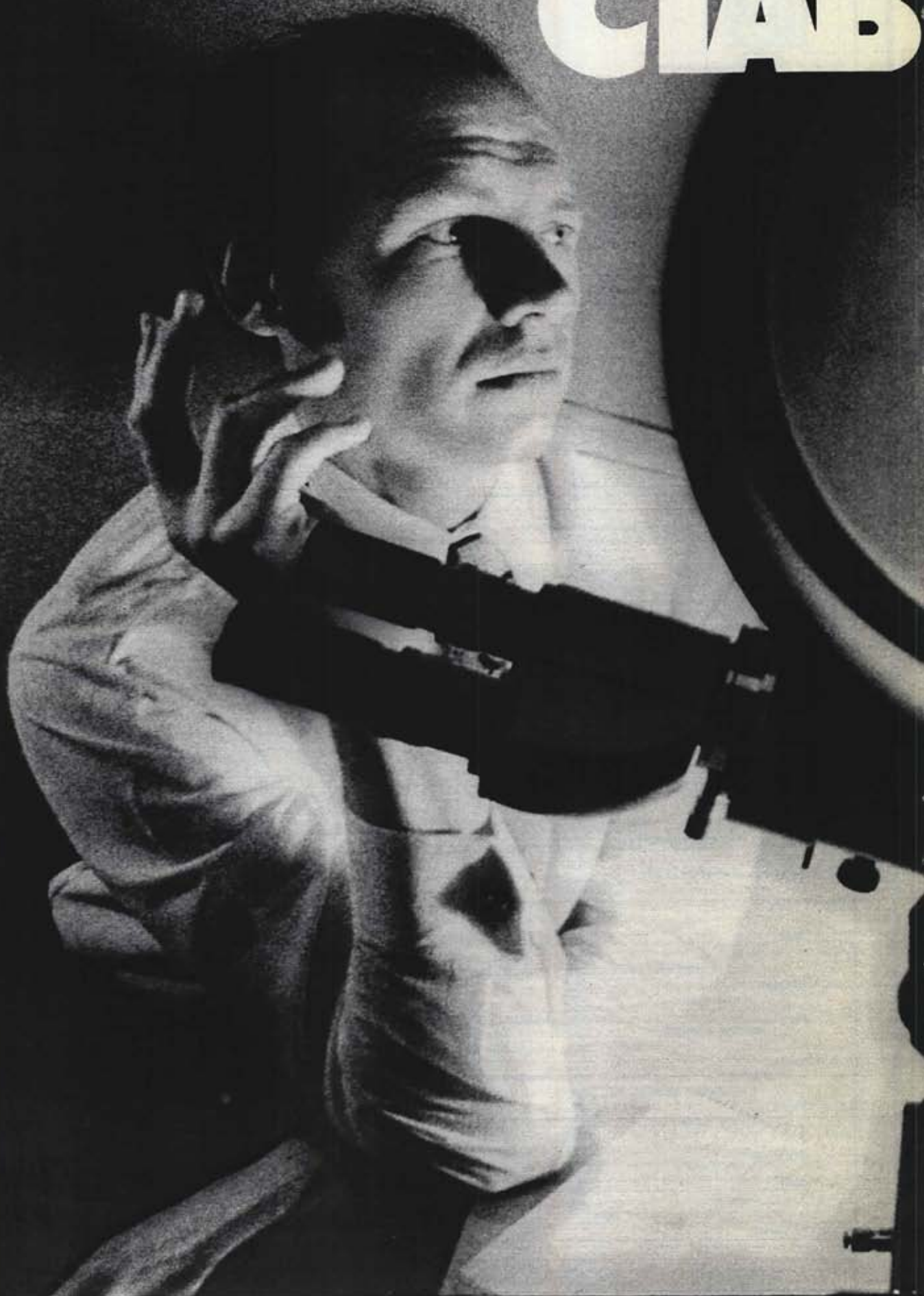
Крестом изваяла его природа. Родился он так давно, что не было в ту пору на свете еще ни лесов, ни живности. Глубоко под землей лежал— там, где и началась его жизнь. Долго лежал. Но вот пришло время— стало камню нестерпимо тесно. И тогда вынесли его могучие силы земные наверх. Снова текли века. А он все лежал и, как положено камню, молчал. Но был он как древняя летопись, хранившая в себе Историю. Ждал прикосновения.

Около двух столетий назад набрели на него рудознатцы. Поблагодарили они землю за добрые знаки: набросала она камни-крестики как раз там, где таила несметные свои клады. Так и назвали камень крестовым. Ученые же теперь именуют его ставролитом: ставро— крест, литос— камень.

Тысячи минералов узнал человек, изучая земные недра. Но лишь несколько обладают этим чудесным даром памяти— памяти сотворения мира, условий образования земных пород. В нынешнее время такие камни становятся словно ключами к тайникам Земли, к полезным ископаемым. Один из таких минералов— ставролит, «камень Федькина».

В разных сочетаниях элементов встречается в природе этот минерал. В одном, например, больше железа и меньше магния, в другом— наоборот. В третьем преобладает цинк. Сочетаний множество. И долго полагали, что нет в них порядка, стройности. Не знали люди, что порядок есть, как есть во всем тайная мудрость природы. Просто тайна ждала своего часа.

Сорок лет назад академик Д. С. Коржинский впервые показал, как можно



КАМЕНЬ РОЛИТ

теоретически анализировать природные процессы в петрографии — описании камней. В этой древней, извечно эмпирической науке, которой занимались еще наши пращурь, появилось теперь новое, теоретическое направление. Она стала наукой качественного анализа.

Есть у геологов такое понятие — «парагенезис». Оно означает совместное рождение минералов и их дальнейшее сосуществование. Парагенезис зависит от условий, в которых формировались минералы, например, от температуры и давления. Стало быть, изучая парагенезисы, можно многое узнать об этих условиях. Дальнейшее развитие такой теории неминуемо ведет к внедрению в геологическую науку, к поиску и разведке полезных ископаемых.

Коржинский создал метод теоретического анализа парагенезиса минералов. Его ученики — член-корреспондент АН СССР В. А. Жариков; доктора наук А. А. Маракушев и Л. Л. Перчук — развили различные теоретические модели. При этом были обнаружены многие новые эффекты и закономерности, что позволило по-новому подойти к давно известным в геологии явлениям природы и расшифровать их.

Геологи, например, давно знают, что такое рудная зональность. Это — последовательное расположение металлов в рудных месторождениях. И вот теперь теоретические проработки позволили предсказать смену одних металлов в зонах другими. Так, если в данной разведываемой зоне обнаружена ассоциация металлов, скажем, А-Б, то в следующей обязательно появятся повышенные концентрации металла С. Все это значительно упрощает поиск и разведку полезных ископаемых, которых, кстати, на поверхности планеты почти не осталось.

Итак, изящные конструкции теоретических моделей были готовы. Предстояло показать, как эти модели действуют.

Это и сделал Федькин, который геологом стал по убеждению, а не по родительскому напутствию.

Родился и вырос он в Саратове. Воспитанием, образованием, семейными традициями никак не предполагалось появление в рядах Федькиных геолога. Отец — юрист, мать — врач, две сестры также стали студентками медицинского. В роду отца много музыкантов. Двоюродная сестра Валентина Татьяна Федькина — известная пианистка, лауреат Шопеновского конкурса. Да и сам Валентин окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Через много лет он будет приходить поздно вечером с работы, к жене и трем детям, а потом, уже за полночь, когда закончены все домашние дела и, казалось бы, теперь только до постели добраться, уходить со своей Ириной в дальнюю комнату, садиться за пианино и играть, играть всю ночь. Когда тяжелы веки и накопленная усталость сама отводит суетные мысли, тревогу дневных забот. И отзывается раскованностью души, тела, рук. Когда ничто чужое уже не может ворваться в их интимный мир.

Потому, видно, при всей своей душевной щедрости он редко играет даже для друзей. И никогда для аудитории. И потому, видно, не стал он учиться «на музыканта», хотя много в семье было разговоров и об этом.

Поначалу верх взяла строгая материнская воля. Но воля эта довела его лишь до парадной двери мединститута, за ручку которой сын так и не взялся, а круто повернул в геологию. Сам говорит, что тайно мечтал о ней давно, начитавшись книг, заболев романтикой нехоженных дорог. И смеется: это, мол, было первое самостоятельное решение в жизни.

Поступил в Саратовский государ-

ственный (СГУ) университет. Учился с жаром и интересом, сразу поняв, что «первое самостоятельное решение» оказалось самым верным. С третьего курса начал одновременно сотрудничать в НИИ геологии СГУ. Как и его товарищи, отчаянно увлекался идеями Коржинского, который был для них, студентов, как Павлов для будущих врачей или Ландау для физиков. Позже Валентин будет работать в том НИИ, которым руководит сам Дмитрий Сергеевич. Тогда же Валентин об этом, конечно, и не мечтал.

После окончания университета проработал лето в партии на Алтае. Потом настала пора геологию на время оставить.

Служил он в погранвойсках — в Туркмении. Подвигам не совершал — на разрушителей заставе явно «не везло». После демобилизации Валентин приехал в подмосковный Академгородок — Черноголовку. Разумеется, не просто так: как раз тогда в Институте физики твердого тела была организована лаборатория экспериментальной минералогии. Позже лабораторию преобразовали в институт.

Однако научной должности для Федькина поначалу не нашлось. Предложили лаборантскую, на которую дипломированный специалист, но колеблясь, согласился. Так он стал тринадцатым по счету сотрудником лаборатории.

Здесь, пожалуй, самое время сделать отступление, чтобы объяснить, что же такое экспериментальная минералогия. Геология была веками наукой наблюдательной. Но вот веяния и потребности времени привели к необходимости экспериментальной проверки теоретических моделей в лабораториях. Таких, как модели Коржинского и его последователей.

Но эксперимент в геологии — возможно ли такое? Действительно, геологические понятия времени сродни астрономическим. Земля развивалась сотнями, тысячами веков. Сжать эти сроки могут разве что писатели-фантасты. И вот теперь геологам предстояло оборудовать «машину времени» в лаборатории.

Как обмануть природу? Как воссоздать и физико-химические условия земной коры, где одно только давление доходит до сотен и тысяч атмосфер? Тогда, у истоков нового направления, решения загадок казались столь глубоко и надежно упрянтанными, сколь и ядро самой Земли.

Делали в то время обмотки для нагревательных печей. Или, как говорят, «монтажи печки». Так вот, «старшие», получая печку, всегда спрашивали: чья? Бытовала поговорка: «Счастливы тот, кому достанется Федькина печка». Все ж навыки экспериментатора и умельца пригодились ему по-настоящему много позже. А именно — сейчас, когда Валентин Федькин, победоносно «покончив» со ставролитом, работает уже над новой темой. С которой дела у него идут пока не так уж хорошо. Но вернемся к «истокам». Именно тогда он впервые реально вкусил и соль и патоку эксперимента.

Через несколько лет он поступил в аспирантуру. Профессор А. А. Маракушев, его шеф, сформулировал задачу «просто»:

— Вот тебе ставролит, посмотри и разберись.

И ОН НАЧАЛ РАЗБИРАТЬСЯ

А почему, собственно, ставролит? Ведь были и есть другие минеральные индикаторы? Пусть не столь эффективные, но, очевидно, не менее интересные.

Да, есть. Но дело в том, что ставролит достаточно хорошо известен и описан.

Значит, все прекрасно! Можно полагать, что, взобравшись теперь на созданный учителями прочный фундамент современной теории, удастся соорудить на нем из крестового камня эдакий «телескоп»? И заглянуть с его помощью в глубь геологических эпох?

В конечном счете так оно и вышло. Работа была отлично выполнена, обрела наглядную и респектабельную форму объемистой монографии и высоко оценена. Но только что к этому вело?

Год за годом собирал Валентин материал и добыл практически все известные науке сведения о минерале. Но сами по себе эти сведения были описательными, разрозненными и часто противоречивыми. А потому мертвыми. Предстояло найти живые связи между ставролитом и минералами его окружения с тем, чтобы узнать термодинамические условия образования горных пород. И проторить путь другим — для поисков земных кладов. Предстояло провести дополнительные исследования физико-химических и различных специальных свойств ставролита, многое добавить из своих личных записей, привезенных с «поля».

Он был в чем-то подобен скульптору, под рукой которого оживает мертвая гранитная глыба. Однако, чтобы «разговорить» свой ставролит, будущему лауреату премии Ленинского комсомола пришлось опровергнуть не только многие классические, хрестоматийные сведения о минерале, но и буквально камня на камне не оставить от его прежней химической формулы.

Много лет на то ушло. Нехоженые дороги, звавшие его, юношу, оказались далеко не такими короткими и романтичными. Помните из его письма: «А весь смысл в том, чтобы идти против ветра»? Он и подтвердил это. Но то была уже романтика настольной лампы.

А работает Валентин легко, непринужденно. Во всяком случае, так считают коллеги. Жалобы, вздохи, суета — это не про него. Кажется, и внутри себя сформировал он некий «психологический алгоритм» именно такой работы. Хотя и отрешенность до «крестиков в глазах» и умение бороться — все это живет с ним и в нем. Но только богатство нашего языка позволяет обозначать это иными словами. Или не обозначать вовсе. Так что, пожалуй, не стоит присваивать ему титул «Рыцаря крестового камня».

ГОЛОСОВАЛИ ТАЙНО

Он отнюдь не выглядит старше своих тридцати пяти. Моложе? Наверное, тоже нет. Вот только глаза: доверчиво добрые, мальчишеские. Хорошо представляю его себе в полевой форме геолога: образ жизни оставил, конечно, здесь свой след. Во всяком случае, ученый секретарь Института экспериментальной минералогии АН СССР сух и вполне спортивен.

И не только с виду. Много лет был Валентин лучшим лыжником института. Но в этом году на первенстве НИИ неожиданно оказался шестым. «Молодежь одолевает», — говорит. Но, думаю, тут он преувеличивает: он и в спорте еще свое возьмет. Во всех проводимых в Черноголовке лыжных соревнованиях выступает неизменно. Обычно часа за три до начала несколько энтузиастов прокладывают лыжню. Федькин и здесь человек обязательный, хотя кто его к этому обязывает?

Как не обязывает никто убивать целый вечер, настраивая чье-то пианино, просто потому, что попросили. Не обязывает просиживать часами с молодым спецом — выпускником института, в который раз отложил свои дела. Причем к «такому» Федькину в институте давно привыкли, не удивляются. Леонид Львович Перчук, нынешний научный руководитель Федькина, назвал его «солдатом науки». И вижу я смысл этих слов прежде всего в каждодневном, будничном, подвижническом служении науке, в

постоянном осознании своего перед ней долга.

Три года назад избрали его секретарем парторганизации института.

Партийная работа шла хорошо, и никого, в общем, это не удивляло: люди знали, кого выбирали комиссаром. Неожиданностью оказалось вот что. Именно здесь, в этом новом качестве проявил он себя как организатор... душ человеческих.

Работал в институте научный сотрудник П. Трудный и неуживчивый человек. Годами бился с ним — тщетно. Все те же высокие требования к окружающим и та же низкая отдача. Как уж Федькин нашел с ним общий язык, никто этого объяснить не может, никто не знает. Но с некоторых пор «сломався» П., стал другим человеком. Это, конечно, к поискам общего языка со ставролитом прямого отношения не имеет.

Восьмого марта этого года весь институт увидел своего ученого секретаря во фраке, цилиндре и с хризантемой в петлице. Среди прекрасной половины коллектива НИИ было проведено тайное голосование на выявление «наиболее достойного мужчины» института. С подавляющим преимуществом победу одержал Валентин Васильевич. Тогда за дело взялся художник, и портрет Федькина, облаченного вышеупомянутым образом, оказался в стенгазете. С соответствующим поэтическим приложением.

«Наиболее достойный мужчина» был весьма смущен, узнав о новом своем титуле. Он начисто лишен тщеславия даже в своей профессии, скорее, недооценивает собственную персону. На многочисленные запросы по поводу монографии «Ставролит. Состав, свойства, парагенезисы и условия образования» отвечает аккуратно, но с оговоркой: «...уверяю, что другие труды нашего института гораздо более достойны внимания, чем этот...».

Л. Л. Перчук уверял меня, что Федькин был искренне удивлен, узнав о присвоении ему премии Ленинского комсомола. А между тем вот его мнение о работе ученика: «Ставролит — как проводник, как пиропы при поиске алмазов. А у Вали крестовый камень буквально «всплыл», раскрылся, заиграл. Когда геологи с помощью именно таких исследований овладевают результатами теоретических проработок, появляются новые методы картирования кристаллических пород. Тогда поиски полезных ископаемых значительно упрощаются. Федькин многое для этого сделал».

К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Так что реконструкция прошлого Земли продолжается. Сейчас Валентин работает над одной из труднейших экспериментальных проблем — равновесиями минералов переменного состава. Об основных трудностях экспериментальной минералогии уже говорилось. А нынешние «подопытные» в этом отношении особенно капризны. В общем, дела идут пока неважно...

Как-то вечером вся Черноголовка вдруг разом окунулась во мрак. Что-то случилось на электростанции. Прохождение поездов: «Сколько лет живем, а такого еще не было». Потом, минут через двадцать, все снова радостно засияло. И все, казалось, было мгновенно забыто.

Но утром мы с Валентином пришли на его установку. Глянул он на кривую, что за ночь нарисовал самописец, и потемнел.

— Полетел сегодня мой эксперимент. Энергию, помнишь, вчера отключили? Потом, когда снова подали, был большой скачок напряжения, и температурный режим в блоке с минералом нарушился. Придется начинать все сначала.

И вдруг улыбнулся:
— Что поделаешь? Надо, Федькин, надо.

ИЗ ИСТИ

Штрихи к портрету балерины Людмилы СЕМЕНЯКИ



Андрей БАТАШЕВ. Фото Александра МАКАРОВА

В

чера вечером она была Ширин... И каждое па-ев стремительного танца было проникнуто тем чувством вознесения, из которого творятся все легенды о любви.

Вчера вечером она была Ширин... И казалось, что именно этот ее дробящийся, рассыпающийся на белые лепестки танец вдохновил восточного мудреца на строки об «одержимом любовью»:

*Что, скажите, павлинья, стоцветная роскошь ему,
Если он лебединой не может найти красоты?*

Ради прихоти женской он примет обет нищеты.

Длится танец, и обет нищеты принимают и дворцы, отражающиеся от своей ценности, и яркие жемчужины-светильники, утрачивающие свое сияние. А люди в зале в этот миг готовы отказаться от всего — ради той самой лебединой красоты, которая представляется им божественной «прихотью женской»...

Каждое новое па уничтожает предыдущее. В танце в трагическом единстве сосуществуют рождение и смерть, обретение и утрата, радость и печаль...

В реальной жизни это единство замечаешь по прошествии лет, месяцев, дней. В танце оно открывается сразу. Но, разумеется, только в том случае, если балерина сумеет передать нам это чувство вознесения, заставив нас удерживать в своем сознании совершенную последовательность ее образов, которые, отделяясь от нее, с каждым мгновением ускользают в прошлое...

Когда я вспоминаю Людмилу Семеняку, я испытываю это чувство и ощущаю, что развивается оно по тем же законам, что и мелодия.

Потому что вчера вечером она была Ширин.

Какой она будет сегодня, предугадать трудно. Любое впечатление, воспоминание, ощущение может мгновенно изменить ее. Надолго она подчиняется только мелодии. Потому что она балерина, то есть актриса, управляемая музыкой.

Однажды Людмила сказала:

— Слышать... Какой удивительный дар!

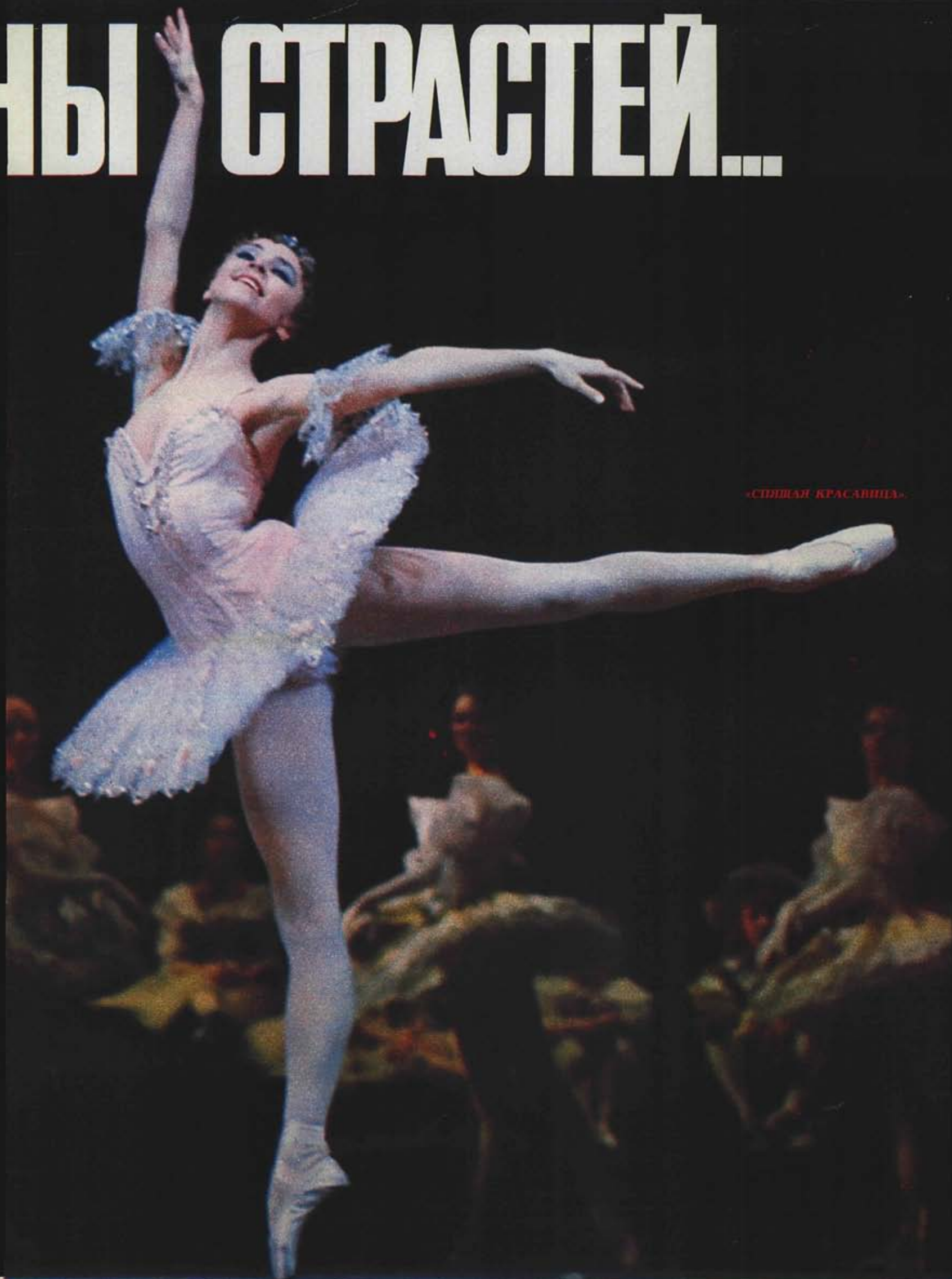
И добавила:

— Слышать музыку.

Произнесла это, она в ту же секунду испытала потребность уравновесить слишком уж «возвышенные» слова какой-нибудь озорной выходкой. Случай представился тут же.

Мы должны были пройти за сценой, где в это время исполнялась опера. И Людмила вдруг запела нечто оперно-пародийное. Взглянула на меня и, наслаждаясь ужасом, написанным на моем лице, рассмеялась.

НЫ СТРАСТЕЙ...



«СВЕТЛАЯ КРАСАВИЦА»



— Ну что вы испугались? Там все равно ничего не слышно.

И, забыв об опере, продекламировала Пушкина:

*...она,
одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит..*

— Пушкин мог бы стать балетмейстером,— сказала она мне, показывая эскиз вариации, которую, по ее мнению, балетмейстер-постановщик А. С. Пушкин обозначил этими строками.

И в словах ее прозвучало профессиональное убеждение: Пушкин тоже принадлежит к ее миру, к миру русского балета.

Людмила Семеняка выросла в Ленинграде. Ее мать—аппаратчица в химической лаборатории, отец—гравер. Наверное, от него перешло ей чувство эстетического долга, требующее от художника полной самоотдачи и филигранной тщательности в работе...

Дед Людмилы делал скрипки. Может быть, это тоже передается по наследству—чуткость к музыке, которая прячется в каждой частице существующего?

Шесть лет назад Людмила Семеняка закончила Ленинградское хореографическое училище по классу Н. В. Беликовой и была принята в Театр оперы и балета имени Кирова. А вскоре ее пригласили в Москву, в Большой... Здесь, на одной из самых первых репетиций, народная артистка РСФСР Р. К. Карельская сказала ей:

— Музыку надо слушать не только головой, а кожей, всеми ее порами...

Чтобы научиться именно так слушать музыку, нужно сделать свое сознание и свое тело абсолютно пронцаемыми для мелодии, для гармонии. А для этого нужно выстраивать, шлифовать и оттачивать каждое классическое движение, пока семь потов не сойдет. Танцевать в классе, на сцене, дома. С открытыми глазами и закрытыми... Танцевать наяву, во сне, в воображении...

В течение репетиции балерина несколько раз меняет пуанты. Когда она снимает их и дотрагивается до пальцев, служащих для нее таким надежным пьеде-

сталом, лицо танцовщицы искажает боль. И тогда понимаешь, что боль эта, привычная и никого не удивляющая, едва ли не всегда сопровождает ее танец.

Занятие заканчивается... Танцовщица, обеими руками нажимая на ребра, помогает себе выдохнуть, а затем делает глубокий вдох. И глаза ее становятся совсем огромными...

Тысячи людей дарят балерине свой восторг и благодарность. Но даже в тот миг, когда весь зал рукоплещет ей, она кажется мне похожей на андерсеновскую Русалочку, которая согласилась терпеть постоянные страдания ради того, чтобы превратиться в женщину.

Стать балериной—в реальности, не в сказке—ничуть не легче...

Я слежу за тем, как занимается с Людмилой Семенякой ее педагог, прославленная Галина Сергеевна Уланова, и думаю: внутренний смысл кратких и точных замечаний Улановой состоит в том, чтобы научить свою воспитанницу постигать любые идеи, заложенные в музыке, непосредственно, без долгих размышлений и расшифровок. Порою мне кажется: если бы вдруг потребовалось, чтобы Людмила Семеняка выразила в танце основы высшей математики, разумеется, запрограммированные в музыке, она сумела бы сделать и это. Все тем же, привычным для нее способом—впитав мелодию...

Создавая образы своих героинь, балерина удивительно точна, правдива и изобретательна. Она не упускает ни единой мелочи, необходимой для есте-

ственного сценического бытия ее персонажей. О себе ей некогда задуматься. Она забывает о том, что нужно отдыхать или хотя бы ежедневно обедать... То, что необходимо ее героиням, подсказывает ей музыка. А что нужно ей, Людмиле Семеняке? На этот вопрос не ответит ни одна балетная партия...

— Мне однажды сказали,—говорит Людмила,—что я была задумана как расчетливый человек, а получился совсем нерасчетливый...

Что ж, наверное, так оно и есть...

Четыре года назад меня поражала в ней артистическая небрежность переходов от одного внутреннего состояния к другому. Кратковременность ее настроений, стремительная их смена делали Людмилу похожей на ребенка.

В свой первый сезон в Большом театре она сказала мне:

— Я и сейчас, когда вижу куклу, таю... Ребенок относится к кукле почти так же, как мы, взрослые, к ребенку. Он умилен ее беззащитностью и хрупкостью. И не может поверить, что кукла неживая. Своим воображением, добросердечием он одухотворяет ее.

Людмила Семеняка сохранила в себе этот чудотворный детский взгляд. Поэтому в «Щелкунчике» так легко, так вдохновенно, испытывая счастье самораскрытия, Маша—Семеняка превращает куклу—Щелкунчика в рыцаря без страха и упрека, в прекрасного принца...

Тогда, четыре года назад, она горевала о том, что в жизни ее не было настоящего горя, и жаждала печали. Чтобы стать актрисой, разумеется.



— Я хочу быть балериной, а не размахайкой радостной...

Она говорила это абсолютно искренне, но, по моему, не понимала, сколь тяжелы настоящие страдания.

Из истины страстей рождается искусство. И каждое движение, прежде чем стать своим для танцовщицы, должно пройти сквозь ее сердце. Только так рождаются и Фригия, и Жизель, и Одетта... И только тогда в нас, зрителях, возникает ощущение, что образы, созданные актрисой, представляют собой некое прекрасное излечение из нашей собственной биографии, из нашего собственного мировосприятия. И это заставляет нас предположить в балерине особенную, артистическую мудрость.

За эти годы Семеняка станцевала немало сложнейших партий. И каждая новая работа открывает в ее женской душе некое чудесное пространство, в котором возникает возвышающий нас танец. И с каждым годом все острее становится контраст между ее стремительно расширяющимся духовным миром и уязвимо тонкой телесной оболочкой, в которую он заключен.

Погас свет, зазвучала музыка, и возник колеблющийся мир, повинующийся движениям дирижерской палочки, которая удерживает в пространстве его сложные конструкции.

До этого сцена была просто большой площадкой. Музыка превратила ее в волшебную территорию творчества. И вот уже возникли образы, чью жизнь определяет и продлевает каждая нота, каждый такт, каждая музыкальная фраза... Невидимые зрителю музыканты словно бы устранились, уйдя в тень, чтобы не мешать нашему восприятию...

На сцену выходят танцовщики. И, совмещаясь с мелодиями, творят пластические образы. Это сопровождается эмоциональной вспышкой, колоссальным нервным напряжением, которое окружает актера ореолом вдохновения. А после спектакля артист далеко не всегда испытывает то сладостное чувство очищения, о котором говорили древние, до такой степени он измучен и опустошен...

Когда закончится спектакль, из театра уйдут и танцовщики, и музыканты, и зрители. И каждый унесет в душе воспоминание об этих сценических

созданиях, которые не являются ничьей собственностью. И для балерины рождение ее героини будет почти такой же тайной, как и для зрителя...

Невозможно, видимо, зафиксировать весь процесс творчества. Запоминаются лишь детали. И каждая из них драгоценна...

— В «Жизели» мы себе глаз красивый делаем, балеринский,—по обыкновению подсмеиваясь над собой, рассказывает Семеняка.—Для этого длинные ресницы приклеиваем. А я в первом акте должна жест такой сделать, словно пальцами пелену с глаз снимаю. Не могу. Ресницы мешают. И тогда я ресницы длинные отодрала, кому-то отдала, и все сразу пошло-поехало. Образ...

Этот получившийся наконец жест заставил актрису ощутить себя совершенно иной, в другой эпохе, с другой биографией, заставил впервые почувствовать никогда прежде не изведенное состояние души...

Несколько лет назад я спросил Людмилу:

— Если бы существовал добрый волшебник, что бы вы попросили у него?

— Мне бы хотелось все видеть, все слышать, все ощущать. Помните, в «Чайке»? «Люди, львы, орлы и куропатки... я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь...»

Музыка, к которой столь восприимчива Семеняка, дарит ей эту возможность. Звучащие ноты властно и нежно пробуждают в ней все те жизни, которые она, актриса, потом радостно и самоотверженно «переживает вновь».

На одной из репетиций Людмила и ее партнер Александр Богатырев пробовали различные поддержки. Одна из них получилась особенно хорошо. И тогда кто-то из сидящих в зале восхищенно сказал:

— Ой, Люда, какая вы большая и красивая!

А она сразу перевела этот чрезмерный, по ее мнению, комплимент в шутку.

— Правда? А к нам недавно один знакомый приезжал. Попросил билет в театр. И утром звонит: «Люда, я весь спектакль от начала до конца высидел. Искал, искал вас на сцене, так и не нашел». А я Одетту-Одиллию танцевала!

Иногда мне представляется, что Людмила Семеняка постоянно и безжалостно тащит сама себя вверх, к

высотам мастерства. Она одновременно и та, которая подчиняет себе, и та, что подчиняется. И некого просить о снисхождении. Потому что Людмила Семеняка очень хорошо знает в себе ту, которая постоянно заставляет ее работать с полной отдачей, не принимая в расчет ни настроение, ни усталость, ни боль...

Совсем недавно Людмила Семеняка стала лауреатом премии Ленинского комсомола, обладательницей премии Анны Павловой, присуждаемой французской Академией танца, победительницей I международного конкурса артистов балета в Токио. В дни 200-летнего юбилея Большого театра ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Я спросил Людмилу, как она чувствует себя, попав в эту полосу удач.

— Так же, как и раньше,—ответила она.—Успех, признание? Все это хорошо, но не главное. Главное—бесконечная, захватывающая погоня за совершенством.

Вчера вечером она была Ширин...

Сегодня она Фригия. И вновь с той же вдохновенной легкостью создает еще одну легенду о любви. Великой своей нежностью Фригия—Семеняка выстилает каждый шаг Спартака (его танцует Михаил Лавровский) в тщетном стремлении спасти его, уберечь, скрыть от глаз врагов...

Как хочет Фригия удлинить мгновения счастья... Однако время неумолимо приближает трагедию... Любовь, страстный порыв возносят Спартака ввысь, но полетные прыжки героя заставляют Фригию увидеть именно ту высоту, на которую поднимут его копыта врагов...

Фригия—Семеняка все время ощущает, что Спартак уходит от нее, в каждое мгновение она теряет, утрачивает любимого. Но ни удержать его в настоящем, ни даже замедлить приближение трагического будущего невозможно...

Дует Фригии и Спартака—это напряженный и ослепительный образ земной красоты, которую не в состоянии выразить ни самый лучший танцовщик, ни самая прекрасная балерина. Только вместе, только вдвоем... Мужчина и женщина, любимый и любимая, сильный и слабая... И каждая поддержка открывает нам новый лик этой красоты, даря предощущение бесчисленных, неисчерпаемых ее воплощений...

РОЖДАЕТСЯ КРИСТАЛЛ.



МЕТАЛЛУРГИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ





Николай АКРИТОВ
Владимир ЧЕЙШВИЛИ
Фото авторов

Рассказ о молодых специалистах Подольского химико-металлургического завода, удостоенных премии Ленинского комсомола за разработку и внедрение автоматизированной системы оптимального раскроя монокристаллов.

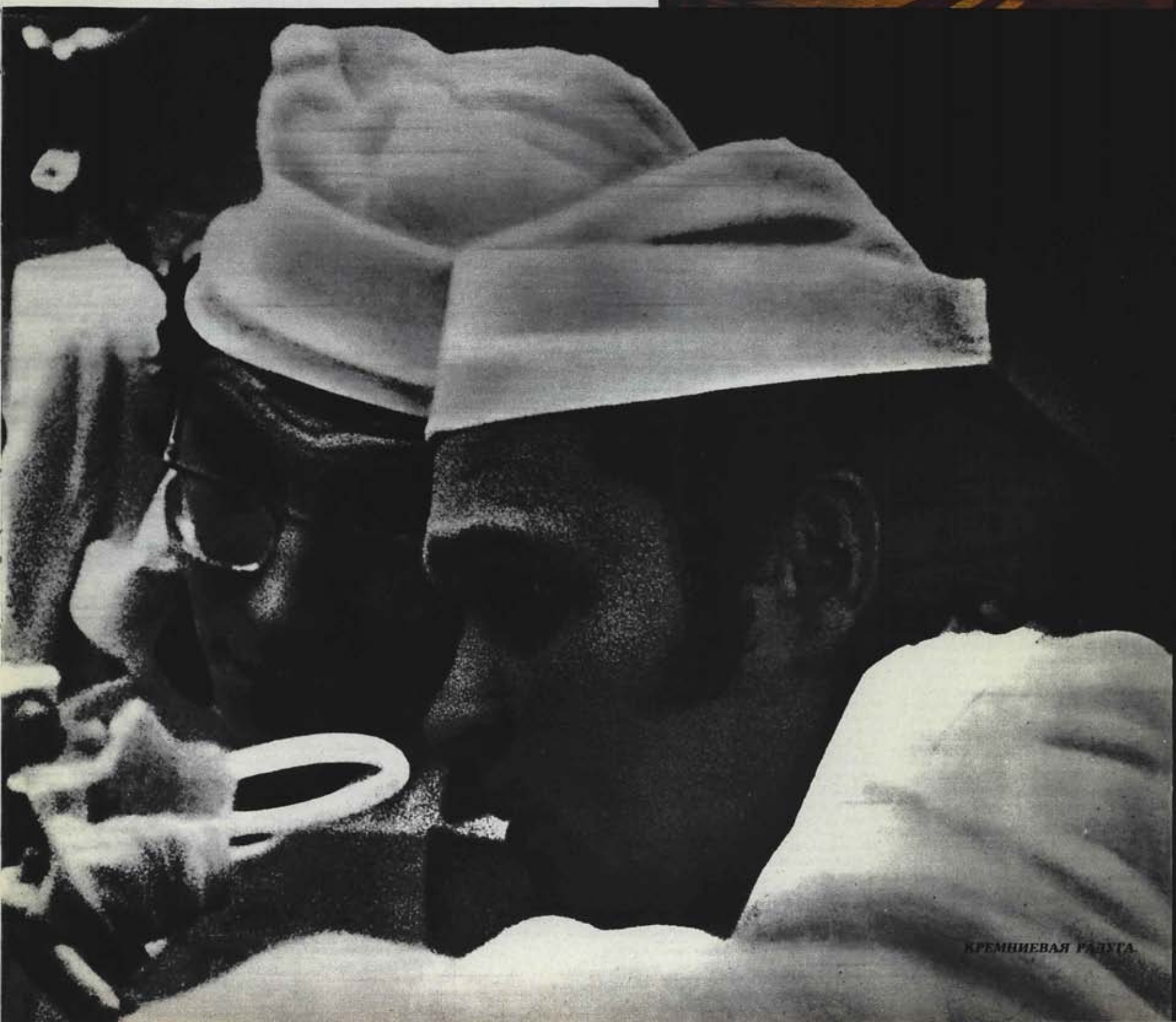
Полупроводники... Без них сегодня невозможно представить ни карманный приемник, ни спутник, ни компьютер — символ XX века, ни обыкновенный телевизор. А рождаются полупроводники в металлургическом цехе, куда можно попасть, лишь облачившись в белые халаты и шапочки.

У светлых плавильных печей — плавильщики в белоснежных халатах. В печах при высочайшей температуре и



**ТОЧНОСТИ МОНТАЖНИЦ МОГУТ
ПОЗАВИДОВАТЬ ЮВЕЛИРЫ.**

ТАК РОЖДАЮТСЯ ИДЕИ.



КРЕМНИЕВАЯ РАДУГА

глубоком вакууме из поликристаллического кремния чуткие руки мастера-плавильщика растят полупроводниковый монокристалл кремния, материал с заранее заданными свойствами.

Выращенный слиток — цилиндр высотой до полуметра и весом в несколько килограммов — ничем пока не напоминает знакомые всем диоды и триоды. Чтобы превратиться в них, ему предстоит большой и сложный путь. Прежде всего надо раскрыть этот слиток — вырезать куски определенного размера, отвечающие требованиям той или иной марки. В лаборатории физических измерений оператор с помощью специальных автоматов определяет удельное сопротивление на торцах цилиндра. Если оно не соответствует заданным параметрам, оператор на глазок подрезает монокристалл, полагаясь на свой опыт и интуицию. Вся процедура повторяется до тех пор, пока удельное сопротивление не достигнет необходимой величины.

Разумеется, такой метод, мягко говоря, далек от совершенства. Слишком велики затраты труда и расход дорогостоящего материала.

Проблема оптимального раскрытия слитков и увеличения выхода готовой продукции существовала давно. На многих предприятиях, где нет полуавтоматов, создаются усредненные рекомендации по каждому отдельному слитку.

Работать так — все равно что читать иностранный текст, отыскивая каждое слово в словаре. Конечно, можно читать и таким образом. Все зависит от умения быстро находить необходимое значение в «словаре» — таблице, а также от настроения, характера, индивидуальных особенностей оператора. Но даже самый одаренный оператор не застрахован от ошибок. Так как же из одного слитка получать больше готовой продукции высокого качества? Что если передать обязанности оператора электронно-вычислительной машине, которая, кстати сказать, не может существовать без деталей, изготовленных из монокристаллов?

Подольский химико-металлургический завод первым в Союзе начал осваивать полупроводниковое производство и, в частности, выращивать монокристаллы кремния. За двадцать лет резко повысились требования к качеству продукции. Кристаллы, которые выпускались в первые годы, сегодня были бы забракованы ОТК завода. Нынешняя продукция завода составляет конкуренцию крупнейшим капиталистическим фирмам, она неоднократно демонстрировалась в Парижском салоне материалов электронной техники и получила высокие оценки.

Подольский завод — передовой в своей отрасли по совершенству технологии. И одна из причин этого — тесная связь с научно-исследовательскими институтами. Завод сотрудничает более чем с тридцатью институтами и научными лабораториями. Польза от этого обильная. С одной стороны, цех выступает не только в роли экспериментальной базы, но и питает идеями НИИ. С другой — научные институты помогают работникам цеха расширять свой кругозор. Такая связь дает ощутимую отдачу. Не случайно за последние десять лет в этом цехе защищено четырнадцать кандидатских диссертаций, строго направленных на нужды производства. В цехе работает отраслевая научно-исследовательская лаборатория, которая помогает другим предприятиям и проводит разработки и внедряет их на родственных предприятиях. На Подольском химико-металлургическом интересно работать: атмосфера поиска и делового соперничества вызывает желание испытать свои силы. Техническое творчество комсомольцев и молодежи приобрело всеобщий размах. За девятую пятилетку ими внедрено в производство 143 рациональных предложения, которые помогли сэкономить в течение года 350 тысяч рублей.

Содружество науки и производства не только помогает увеличить выход готовой продукции, но и рождает новые идеи, принципиально новые решения.

Пример тому — четвертый цех. Он оснащен автоматами для измерения удельного сопротивления слитков. Оно и навели начальника бюро автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) Валерия Лейбовича на мысль использовать в качестве помощника оператора ЭВМ. Правда, когда родилась идея, на заводе

— чистая математика, а здесь производство. Просто не видел, чем и как может быть полезен коллективу. «Но дело оказалось страшно интересным», — рассказывает Марк. — Когда что-то стало получаться, понял, что мне крупно повезло. Я почувствовал: здесь в течение двух-трех лет можно добиться того, чтобы математические идеи принесли конкретные плоды, воплощенные в готовую продукцию. Начал досконально изучать технологию, чтобы обучать счетные машины управлению технологическим процессом. Создавал матема-

за — программная проверка алгоритмов и вариантов на машине «Наири». На базе этих проверенных алгоритмов нужно было привязывать измерительные автоматы к прибывшей на завод новой вычислительной технике. Но встала проблема: кто сможет запустить эту технику? Цеху был нужен специалист. И тогда появился Володя Калачев. После окончания Тульского политехнического института он работал в Подольске, знания, полученные им на факультете автоматики и телемеханики, помогли побороть робость перед незнакомой

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ВЛАДИМИР КАЛАЧЕВ, КОНСТАНТИН КУЦЕВ, АНТОНИНА ЖАДАН И МАРК ШНАЙДЕРМАН.



не было АСУТП. В цехе существовало лишь бюро вычислительной техники со штатом в три человека.

По существу, была готова нижняя ступень вычислительной иерархии — измерительные автоматы. Остался пустяк — привязать их к ЭВМ, которой пока не было...

Но это еще не начало работы. Начало заключалось в постановке строго математической задачи, формализации ее, перевода языка технологии на язык математики, разработке соответствующих алгоритмов и подготовке базы — вычислительной и измерительной техники — под эти алгоритмы.

Нужен был математик, которого тоже не было.

В 1971 году Марк Шнайдерман закончил Московский университет и получил направление на завод. Приехал и понемногу разочаровался. Его специаль-

ную модель, с помощью которой могли бы найти «общий язык» измерительные автоматы и ЭВМ».

Вскоре образовалась группа «Раскрой», которая занялась созданием АСУТП. В этой группе стала работать и Тоня Жадан. Тоня десять лет работала оператором, заочно закончила энергетический институт, сейчас она инженер-электрик. Ее знания и опыт, послужив мостиком между электроникой, математикой и технологией, сэкономили для группы много времени. Она занималась сбором статистики. Проводила эксперименты со слитками, обобщала тысячи замеров и выводила средние показатели. Конкретные числовые величины входили как константы в математическую модель, которую разрабатывал Марк.

Эта трудоемкая, кропотливая работа была первой фазой. Вторая фа-

техникой. Володя засел за изучение чертежей и через полгода отправился на курсы по изучению новой вычислительной машины в Северодонецк уже готовым специалистом, просто за дипломом.

Уезжал со спокойной душой: в их группу влилось мощное пополнение — Константин Куцев с женой Татьяной. Оба выпускники Бауманского, специалисты по вычислительной технике. Куцеву пришлось доводить вычислительную технику, делать некоторые изменения в привязках, программах, разрабатывать проверочные тесты. Но все это — вылавливание «пенек» (слова Куцева), исправление ошибок в схемах — он относит к работам второстепенным. Главное — привязка машины к измерительным автоматам.

В группу приходили новые люди — работа пошла быстрее. Через год смогли

опробовать первый вариант, подключив к ЭВМ измерительные автоматы. Провели первые пробные испытания и получили почти десять процентов экономии материалов. Результаты были настолько неожиданными, что технологи и руководство завода отказались подписать первый акт — не поверили. Однако, почувствовав все же перспективность этого дела, предложили провести более длительные испытания...

Когда сформировалась группа разноплановых специалистов, наметилось четкое разделение функций. Математи-

чу: сделать блок, анализатор. К сожалению, увидеться нам не пришлось: он уехал на курсы повышения квалификации, куда, кстати, допускаются только специалисты с высшим образованием (Толя имеет за плечами лишь десятилетку и курсы мастеров).

В цехе нет базы для изготовления печатных плат и электронных схем, а в процессе монтажа нужно было делать модульные ячейки. Дали Иноземцеву принципиальную, общую, схему, в которой все элементы: сопротивления, емкости, транзисторы — не были рассчитаны

— Ребята, — подошла к ним технолог Таня Селиверстова, — вы как замеряете слиток?

— Как положено — с двух торцов. А что?

— И результаты замеров каждый раз попадают в вашу машину?

— Конечно. Куда же им деваться?

— А если один результат вы запомните?

— Кто? Мы?

— Нет, машина. У нее есть память?

— Получше, чем у всех нас, вместе взятых.



ки составляли программы, электронщики занимались привязкой техники к ЭВМ, электрослесарь монтировал системы, паял, отлаживал, подбирал режимы. Кстати, электрослесарь Анатолий Иноземцев — единственный рабочий, вошедший в группу ученых, награжденных в феврале этого года премией Ленинского комсомола. Лауреатами премии, по статусу, могут быть молодые ученые, инженеры. Для рабочих есть премии в области производства, но администрация завода и сами ребята убедили комиссию ЦК ВЛКСМ, что Иноземцев имеет право на эту награду.

Толя, один из ветеранов цеха, работал на особенно ответственных участках в группе контрольно-измерительных приборов, но молодые специалисты сумели переманить его к себе. И он, электрослесарь, работал как электронщик — мог решить любую зада-

чу на конкретный уровень сигналов, на схему, применяемую в системе «Раскрой». И Толя сам, без инженерной помощи, рассчитал конкретные параметры, и не просто рассчитал, а подобрал режимы всех приборов, отладил схему на стенде, внедрил в машину и обеспечил надежную, без сбоев, стыковку измерительных автоматов с промежуточной стойкой и вычислительной машиной.

Однажды Костя спросил программиста Володю Митрофанова, доставая блок из раскрытой ЭВМ:

— Ты уверен, что твоя программа правильна?

— На сто и больше процентов, — чуть помедлив, повернулся к нему со слитком в руках Митрофанов. Он готовил его к очередному замеру.

— Но почему же тогда у нас так много времени уходит на промеры?

— Вот и пусть она запомнит замер с одного торца, а по второму вы сами меряете. Мы, операторы, всегда так делаем.

Нет смысла описывать реакцию группы «Раскрой» на эти слова, потому что она имеет много общего с классической финальной сценой после слов: «К нам едет ревизор...»

Технологи с первых дней восприняли затею с ЭВМ скептически: мол, что здесь можно сделать? Мы работаем много лет, а тут пришли какие-то молодые выпускники, которые и производства-то толком не знают, и вдруг обещают что-то улучшить с помощью непонятных математических методов.

Опасения были небезосновательны. Сложность заключалась не только в решении технологической задачи. ЭВМ М-6000, на базе которой решили создавать АСУ, нигде еще не была внедрена,

даже разработчики со скептицизмом ждали, что получится. И не надо забывать, что все специалисты из группы «Раскрой» комсомольского возраста, а это не только энергия и энтузиазм, но иногда и недостаток опыта.

Моральную и практическую поддержку комсомольцам оказывали на всех уровнях, начиная от директора завода А. К. Дроздова и начальника цеха Х. И. Макеева — лауреатов Ленинской премии, начальника АСУТП В. С. Лейбовича и до рядовых операторов.

Особенно внимательно прислушивался к советам Володя Митрофанов, выпускник мехмата МГУ. Ему они были необходимы как основному программисту. Его увлечения создавать все новые и новые программы порой мешали работать. Не успевают электронщики проверить один тест, а он уже несет им другой, «еще лучше». «Хватит, Володя, нам и этого достаточно!» «Нет, я вам сейчас такую программку сделал...» Он не только математик, но и страстный радиолобитель. Синтез таких качеств помог ему развить систему, устранять неисправности — и в период наладки и в промышленной эксплуатации.

Около двух лет работает автоматизированная система оптимального раскроя монокристаллов на базе управляющей вычислительной машины. При ручном раскрое слитка — «на глаз» — вырезается только одна марка, а остальное уходит в брак, на переплавку. Система «Раскрой», не разрезая слиток, как бы видит расположение в нем различных марок и намечает, как их лучше вырезать из монокристалла. Естественно, за счет этого резко уменьшаются отходы. В течение года получено много положительных отзывов с родственных предприятий. Первая очередь дает 600 тысяч рублей экономического эффекта, но комсомольцы продолжают расширять алгоритмы раскроя для новых и новых марок.

Поначалу рекомендации по раскрою оператор получал с телетайпа. Это было не очень удобно: мешали шум, ненадежность электромеханических устройств. Комсомольцы решили подключить электронные индикаторные табло. Сделали индикаторы, подкорректировали алгоритмы. В канун открытия XXV съезда КПСС запустили вторую очередь системы, увеличив в два раза количество измерительных автоматов, выполнив тем самым свои социалистические обязательства. Дстойное начало пятилетки качества!

Эта первая победа придала комсомольцам уверенности, открыла перспективу на будущее.

Сейчас в четвертом цехе действует пять подсистем: «Раскрой», «Диамон» — выращивание слитков с помощью автоматки, «План» — распределение плана по всем плавильным печам, «Легир» — внесение примесей в ходе плавки и «Диспетчер» — контролирующая работу нескольких печей. Эти подсистемы находятся пока в эмбриональном состоянии. Некоторые традиционные технологические методы себя исчерпали. Нужен новый подход, необходимо внедрение математических методов, широкая и полная автоматизация. За пятилетку все подсистемы должны увязаться в замкнутую самоуправляемую автоматизированную систему, распоряджающуюся всеми операциями, начиная от затравки слитка, выращивания и раскроя монокристаллов.

...Главный технолог соседнего цеха встретил Марка в проходной:

— Не могла бы ваша группа заняться разработкой АСУ в нашем цехе? Работа у нас интересная. Чувствую, что с вашим подходом на одном из участков можно сэкономить несколько десятков тысяч рублей. Возьметесь?

— Не откажемся. Только с одним условием — после того, как в своем цехе нечего будет автоматизировать.

— Значит, договорились! Когда вас ждать?

— К концу пятилетки, — уверенно ответил Марк.



Василий ЖИЛЬЦОВ
Фото Сергея ПЕТРУХИНА

Бог знает, с каких времен за этим старым кирпичным зданием закрепилось диковинное для сегодняшних дней название — «заведение святой Нины». Когда-то здесь действительно помещался церковный приют для девочек, потом долгие годы была обычная школа, а сейчас, кажется, какой-то академический институт.

А мне этот дом, стоящий на тихой улице старого Тбилиси, памятен иным. Мимо него пролегал путь в школу. В военные годы занимались мы во вторую смену. Уроки начинались часа в два, но выходили мы с ребятами заранее: нужно было побывать у госпиталя.

Все окна «заведения святой Нины», ставшего в те дни госпиталем для военных моряков, были забиты выздоравливающими матросами. Завидев нас, мальчишек, они вступали в разговоры, поручали купить папиросы, бросить в почтовый ящик письмо, которое тут же переправлялось

вниз в подвешенной на бинте банке от американской тушенки.

Может быть, госпиталь так навсегда и остался бы в мальчишеской памяти этими вот окнами с веселыми, добрыми, на вид вполне здоровыми людьми, если бы в одно из холодных зимних воскресений не попал бы я внутрь вместе с бригадой Тбилисского Дворца пионеров.

В самодеятельности я не состоял по причине полной бесталанности, но в библиотеке был вполне своим человеком, а тут нужно было отнести несколько пачек книг для раненых и доставить обратно уже прочитанные. Словом, миссия моя была предельно простая, и я тут же мог отправляться обратно, но, конечно же, увязался вместе с агитбригадой, став при ней чем-то вроде «рабочего сцены» — таскал здоровенный футляр с аккордеоном, расставлял стулья для музыкантов... Сначала был концерт в большом, забитом людьми помещении, наверное, столовой, а потом мы



СЕМЬ



"ЦИСКА

ЦВЕТОВ



ЦИСАРТКЕЛЫ

пошли в палаты—к тем, кто не мог двигаться.

Не помню репертуара, да это, наверное, и не важно. Были песни—и военные и народные, были какие-то стихи и короткие скетчи, были танцы, зажигательные грузинские танцы.

Мы шли с этажа на этаж, из палаты в палату. Поначалу, входя к тяжелораненым, мы смущались и говорили испуганным шепотом, но постепенно чуткими детскими сердцами уловили, что не тишины, не сострадания, не жалости ждут от нас эти люди, не раз встречавшиеся со смертью лицом к лицу. Мы были для них символом жизни, олицетворением всего того, за что они сражались. И они требовали от нас, чтобы мы говорили громко и весело, пели во весь голос.

Я становился каждый раз где-нибудь в стороне и смотрел, как постепенно отта-



ивали глаза, стирались боль и страдания, словно бы по небу, только что прочно запертому тучами, пронесся легкий, ласковый ветер и вот уже распахнулась бездонная голубизна и заиграло солнце.

Столько лет уже прошло, но ощущение того удивительного волшебства, сотворенного в холодную военную зиму моими сверстниками из Тбилисского Дворца пионеров, не забылось. До сих пор уверен, что тот концерт был самым великим произведением искусства, которое мне довелось увидеть.

Недавно вот снова пришлось вспомнить о нем. Приехал в Тбилиси, чтобы написать об ансамбле «Цисарткела» («Радуга»), получившем премию Ленинского комсомола, а заведующий отделом эстетического воспитания Дворца пионеров Тамаз Александрович Перадзе начал свой рассказ об ансамбле именно с тех далеких дней: перед самой войной, в мае 41-го года, был открыт пионерский дворец, и первые выступления его самостоятельности состоялись именно в военных госпиталях. Оказывается, Перадзе сам был в числе маленьких артистов, врачевавших защитников Родины великою силою искусства. И ощущения, воспоминания наши были очень схожими, вот только в адресе госпиталя мы с ним разошлись, но спорить не стали: очень много их было в тыловом по тогдашним понятиям Тбилиси.

Тридцать пять лет исполнилось в нынешнем мае Тбилисскому Дворцу пионеров, носящему имя одного из основателей комсомола Грузии, Бориса Дзnelадзе. Точно такой же юбилей отметил нынче и пионерский коллектив художественной самостоятельности «Цисарткела», ведущий свою историю с бригад, выступавших в военные годы в госпиталях.

Не одно поколение прошло за этот срок через ансамбли «Цисарткелы». Те, первые, уже стали дедушками и бабушками, приобрели специальности, некоторые даже стали профессиональными артистами. Теперь они приходят на отчетные концерты своих внуков, поражаются сложности репертуара, техническому мастерству юных исполнителей: «Мы бы так не смогли, иные времена—иные песни»,—но с удовлетворением отмечают, что главная цель и

смысл «Цисарткелы» остались прежними—воспитание средствами социалистического искусства патриотизма, гордости за великую культуру своей страны.

— Каждый год в наши ансамбли приходят сотни новых детей,—рассказывал мне Перадзе,—и мы принимаем всех, без каких бы то ни было исключений. Ведь наша задача не готовить артистов, музыкантов, танцоров (для этого существуют специальные учебные заведения), а воспитывать, именно воспитывать культурных людей, целенаправленно, методично приобщать их к сокровищнице национального и мирового искусства. В этом смысле мы являемся продолжением школы, органичной частью единого воспитательного процесса.

Но пора, наверное, рассказать о том, что же такое «Цисарткела». В этот большой художественный коллектив входит семь самостоятельных ансамблей, каждый со своим собственным репертуаром, со своими педагогами. Есть своя символика в том, что этих ансамблей именно семь—столько же, сколько цветов у настоящей радуги (напомню, что именно так переводится с грузинского слова «цисарткела»). Этим как бы подчеркивается завершенность всего цикла, хотя сами руководители подумывают о расширении спектра—создании новых ансамблей.

Каждый цвет «Цисарткелы» заслуживает самого подробного описания, но для краткости ограничимся простым их перечислением, а потом в самых общих чертах расскажем о двух из них. Итак, вот они, семь цветов тбилисской радуги: пионерский хор, хореографический коллектив «Горда», вокальная группа мальчиков «Мирагула», оркестр народных инструментов «Саундже», вокально-инструментальный ансамбль девочек «Мзиури», духовой оркестр, камерный оркестр.

Пользуясь спортивной терминологией, сообщим, что основные составы ансамблей насчитывают в общей сложности 430 человек. Цифры сами по себе внушительные, но они только видимая невооруженным глазом часть большого пионерского хозяйства. Ведь речь идет о детях, а они имеют обыкновение расти, взрослеть и вообще заканчивать школу. Поэтому надо постоянно готовить пополнение, вводить новых исполнителей, благо от желающих отбоя нет.

Как же это делается? С такого вопроса и начался наш разговор с заслуженным деятелем искусств Романом Чохонелидзе, руководителем «Горды». Ансамбль насчитывает 200 танцоров, но они только та видимая часть, о которой мы говорили. Помимо нее, действует студия с трехгодичным сроком обучения, в которой занимается 600 детей.

Военный летчик-штурмовик в годы войны, Роман Чохонелидзе был одним из лучших танцоров в грузинских национальных ансамблях. Более 20 лет он во Дворце пионеров, и его называют с почтением «масцавлебело» (учитель) многие известные танцоры и балерины Тбилисского театра оперы и балета.

И опять разговор возвращается к той же теме—воспитанию через искусство.

— Танцы облагораживают человека, приучают его правильно, по-рыцарски вести себя в обществе,—говорит Чохонелидзе.—Мы начинаем обучение с элементарных движений, помогающих на всю жизнь приобрести правильную осанку, пластику, грациозность. Мальчики узнают, как следует правильно подоить к девушке, чтобы пригласить ее на танец, как держать себя в присутствии женщин. Девочки открывают для себя свой мир движений—в грузинской хореографии роль женщины менее заметна, но очень важна: гордая скромность, плавность, величавость. Как важно обрести эти качества подросткам, пока еще резким и угловатым. Все это азы, и так же, как и азбука, они запоминаются на всю жизнь. Юноша, прошедший нашу студию, просто не сможет вести себя в обществе развязно. И даже если он никогда не станет хорошим танцором, все равно мы можем считать свою воспитательную задачу выполненной.

А танцуют в «Горде» прекрасно. Это очень трудно—передать словами грузинский танец, где в считанные минуты проно-

сится весь сложный мир человеческих чувств.

Можно было бы рассказать и о дивных мальчишках из духового оркестра, важно вышагивавших перед нами в роскошной парадной форме, о виртуозах из оркестра народных инструментов, исполняющих на саламури, чонгури, пандури мелодии, бережно сохраненные до наших времен энтузиастами-фольклористами.

Но вас, наверное, больше интересует «Мзиури» — девчачий эстрадный ансамбль, ставший в короткий срок всемирно известным. Двадцать девочек — веселых, задорных, своенравных, как и должно быть в их трудном, переломном возрасте. А руководят ими сейчас двое молодых мужчин — музыканты с консерваторским образованием — Гурам Джанани и Валерий Схиртладзе. И как руководят: дисциплина удивительная, словно бы это и не опытные «звезды эстрады», а новички.

Я спросил Гурама:

— Трудно работать с девочками?

— Знаете, и легко и трудно. Мальчишкой иной раз и шлепнуть можно, а здесь... Но и они молодцы, не зазнаются. Я обошел все школы, где учатся наши девочки. Говорил с учителями, интересовался их поведением дома и в классах. Обыкновенные дети, без всяких комплексов и выкрутасов. А ведь за пять лет можно было их и испортить. Значит, мы не так плохо работали, если не смогли этого сделать.

В 1971 году, когда родилась идея о создании «Мзиури», желающих поступить в новый ансамбль было совсем немного. Педагоги уговаривали детей, даже сманивали их из других коллективов. Словом, никакого конкурса не было — набрали двадцать 7—8-летних девочек и стали их учить премудростям эстрадного искусства. Джанани в то время учился в консерватории по классу скрипки, с гитарой он еще был знаком (товарищи подарили однажды на день рождения), а вот другие инструменты пришлось и для себя открывать заново.

Пять лет прошло с тех пор. Девчонкам теперь по 12—13 лет, на вид они постарше, если, конечно, не вспоминать о пресловутой акселерации, а под ногами у них вертятся «мзиурята» — восемь девчушек — завтрашний день «Мзиури». Желющих поступить в ансамбль теперь сколько угодно — просьбы, телефонные звонки тщеславных родителей одолевают педагогов, но они непреклонны: в общении с детьми знакомства, протекция немислимы, все должно быть по-честному.

За пять лет в репертуаре «Мзиури» появилось 100 номеров. Многие из них сейчас уже устарели — дети выросли, а фальшивить им никак нельзя. Сейчас готовится новая программа. Ради нее педагоги добились сокращения публичных выступлений — нужно время на репетиции, на учебу, наконец, просто на нормальную детскую жизнь. Впервые «Мзиури» покажет не обычный концерт, а спектакль, как теперь принято говорить, мюзикл «Буратино», в основу которого взяты песни из показанного недавно телевизионного фильма. Молодой московский композитор А. Рыбников пишет сейчас новые песни специально для этого спектакля. Готовятся декорации, разучиваются первые мизансцены. Это будет спектакль-игра, спектакль-забава, близкий и понятный всем детям.

На глазах у зрителей девочка, исполняющая роль Карабаса, приставит к подбородку искусственную бороду и споет песенку своего персонажа, а другая — Буратино — сделает то же самое со своим длинным носом. Ведь так и бывает в настоящей детской игре, где всем движет неистощимая фантазия, пропадающая, когда мы взрослеем, невесть куда.

В конце марта в Москве состоялся концерт «Цисарткель», посвященный присуждению ей высокой награды — премии Ленинского комсомола. Тогда юные лауреаты сообщили, что передают свою премию в Фонд мира. И когда объявляли об этом решении, на сцене рядом с тбилискими пионерами незримо встали те, кто начинал этот путь в холодную зиму сорок первого года в тесных госпитальных палатах. Они поступили бы точно так же.



ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ

Владислав ЯНЕЛИС,
специальный корреспондент
«Смены»



Фото автора

Любовнее, чем на Руси, к хлебу, пожалуй, нигде не относились. Идет это из старины, издавна, передается от отца к сыну, от сына к внуку. И пусть мало кто из моих сверстников знал хоть какие-то ограничения в хлебе — уж чего-чего, а его-то на столе всегда было вдоволь, — уважение к хлебу живет в нас прочно. Потому что достаток его испокон веку был мерилем человеческого труда, потому что именно хлеб, когда не оставалось ничего другого, кормил людей в суровую родину. Хлеб, хлебушко... Плоть от плоти земли нашей и труда нашего.

У Галины Каржевич судьба сложилась так, что вся ее взрослая жизнь была связана с хлебом. Сначала она его растила, потом пекла. Да и из самых далеких детских воспоминаний хлеб был на первом месте.

— Мама пекла хлеб раз в неделю. Мы сядились за стол всей семьей, и мой ломоть, как младшей из трех сестер, был вторым после отцовского. Есть хлеб полагалось молча, и никто этого порядка не нарушал. Не потому, что мы жили плохо, голодно (колхоз, в котором работали родители, а затем и мы, считался одним из самых крепких хозяйств района). Просто

исстари в наших деревнях только что выпеченный хлеб считался лакомством, а сам процесс его «пробования» — почти ритуалом. За столом разрешалось говорить только отцу. Всякий раз, принимая из рук матери свежеспеченный ломоть, отец произносил одну и ту же фразу: «А ну-ка, попробуем труда своего».

Какой же был тот хлеб? Если говорить о вкусе, то прежде всего теплый — да, да, теплота тоже имеет свой вкус, чуть-чуть кисловатый — это от простокваши. И еще очень пышный — оттого, что взбивали опару руками и делали это нежно. Позже, работая на хлебозаводе, я часто сравнивала наш хлеб с домашним, все пыталась получить ту же пышность и ни с чем не сравнимый вкус тепла.

Конечно, ни с того ни с сего человек не решает вдруг стать хлебопеком. В выборе профессии всегда есть какие-то внутренние и внешние побуждения, пружины. Уважение к хлебу, как к продукту труда человеческого, труда нелегкого и радостного, которое с детских лет Галя переняла от своих родителей, считаю я побуждением внутренним и главным. А то, что старшая сестра выучилась на хлебопека раньше нее, стала работать на втором минском хлебозаводе и с гордостью рассказывала об этом Галине, думается, причина внеш-

няя. Соединение этих двух причин и позволило Гале сделать, на мой взгляд, единственно верный выбор профессии.

— Мама не хотела меня отпускать из дома, но я все-таки ее уговорила. К тому времени уже представляла, что такое печь хлеб: специально ездила в Минск посмотреть, как работает сестра. В общем, получила аттестат зрелости и поступила в ГПТУ № 47. Прочилась год, и мне присвоили квалификацию хлебопека III разряда. Было это в 1964 году. С тех пор я здесь — на хлебозаводе «Автомат».

Галина Каржевич печет хлеб уже двадцать лет, и, наверное, именно поэтому она чаще всего вспоминает то, что так или иначе связано с хлебом.

Например, старую Лопихину, которая жила в соседней деревне. Во время оккупации она прятала у себя в подполе двух тяжело раненых красноармейцев. А есть было нечего, и Лопихина собирала кору с деревьев, толкла ее, перемешивала с овсяной мукой и добавляла мелко рубленную солому. Из того, что получалось, пекла хлеб и кормила им красноармейцев. Через пару месяцев они поправились и ушли в лес к партизанам. А Лопихина весной сорок третьего умерла от истощения. Когда Галя Каржевич была пионеркой, она вместе с ребятами из класса ходила в ту деревню смотреть на дом, где жила Лопихина, спасшая от смерти двух солдат. И видела ступку, в которой она толкла кору.

У завода, где работает Каржевич, тоже есть военное прошлое. Галя знает о нем от других, знает достаточно хорошо, чтобы никогда не забывать.

Сразу после оккупации Минска хлебозавод «Автомат» был взят под особый контроль гитлеровским командованием. Немецким солдатам нужен был хлеб, много хлеба. Но сколько бы полицейев ни дежурило круглосуточно возле горячих печей, они то и дело выходили из строя. Только одна работала постоянно, потому что часть хлеба, который в ней выпекался, рабочие завода ухитрялись переправлять белорусским партизанам. Зато на следующий день после освобождения города советскими войсками хлебозавод дал рекордную по тем временам выпечку хлеба. Все его печи работали безотказно.

И еще Каржевич знает о том, что произошло в 1943 году, во время оккупации в одной из деревень неподалеку от Минска. Знает еще со школы...

Гитлеровские каратели бросили несколько черствых буханок на дорогу и, дождавшись, когда голодные мальчишки соберутся возле хлеба, расстреляли их из автоматов. Расстреляли за то, что мальчишки хотели есть, за то, что их отцы дрались на фронте, за то, что эти мальчишки были хозяевами того хлеба, — ведь он вырос на их земле.

...В детстве я любил кормить хлебом старую колхозную лошадь, которую уже давно не запрягали. И меня никто не упрекал в том, что я делаю. Меня никто не упрекал в том, что я вытряхивал хлебные крошки из карманов прямо на землю. Было это после войны. Я не знал тогда, что в тяжелую военную пору хлебные крошки спасали от голода таких же мальчишек, как я.

Они ждали, когда кончится смена на

хлебозаводе, и встречали рабочих на пустыре, метрах в ста от проходной. Дети, потерявшие родителей, оставшиеся без крова и хлеба. Они сидели на обгоревших бревнах и молча смотрели на людей, выходящих из проходной хлебозавода. И рабочие, не выдерживая этих взглядов, вытаскивали из карманов небольшие кульки с хлебными крошками, которые были едва ли не единственной платой за их труд, и отдавали их голодным детям.

Через десять лет такие же вот хлебные крошки будут спокойно склевывать воробьи, и никому в голову не придет их отгонять. Потому что в разные годы хлеб имел неодинаковую цену.

Тридцать один год назад кончилась война. Уже ушли с завода последние из тех людей, что трудились на нем в то время и помогали своим хлебом бить врага. Хлеб воевал в белорусских лесах и на передовой. Воевал с послевоенной разрухой—тогда его тоже было не густо. И побеждал.

Это ничего, что те люди сейчас не стоят возле печей. Их рабочие места заняли другие. Да и хлеб теперь другой—из чистой муки, без всяких примесей. Но память о том, военном хлебе осталась и о людях, его делавших, тоже. Для Галины Каржевич и ее подруг было делом чести научиться печь хлеб так, как это умеют их старшие товарищи.

Машинист, пекарь, тестовод, укладчик, контролер смены, технолог участка—такова рабочая одиссея Галины Каржевич, прежде чем она стала мастером-пекарем, прежде чем она стала бригадиром смены. Теперь она отвечает за работу почти тридцати человек, отвечает за каждый килограмм хлеба из сорока тонн, выпекаемых бригадой за смену. Как-то я спросил Галину, не испугала ли ее ответственность, которую она приняла на себя в двадцать четыре года.

— Сложный вопрос. Я ведь согласилась занять должность бригадира не сразу. Понимала, что придется не просто руководить, но и учить людей, многие из которых старше меня, требовать с них, решать не только вопросы производственного, но и этического порядка. С неделю раздумывала: соглашаться или нет? В то время я училась в техникуме и рассудила в конце концов так: закончу—тогда посмотрим. В общем, уже хотела было отказаться, но неожиданно пригласил меня наш директор Егор Тихонович Кошев и спрашивает:

— Испугалась?

— Испугалась,— отвечаю.

— Ты что же, думаешь, мы тебя за красивые глаза в бригадиры выдвигаем? А я ему прямо:

— Боюсь, не будут меня слушаться, мне двадцать четыре, а некоторым в бригаде за пятьдесят.

— Не в возрасте дело. Я мальчишкой бригадиром в колхозе работал, и то слушались. Главное, чтобы человек душой за дело болел. Ну, а трудно будет—дорогу ко мне или в партбюро знаешь, приходи, посоветуемся.

Чтобы понять, почему после разговора с Кошевым Каржевич согласилась принять бригаду, надо знать Кошеву. Человек он удивительной и трудной судьбы. В четырнадцать лет Егор Кошев, оставшись в семье за главного кормильца, собрал по деревне таких же, как он, ребят, впряглись они вместо лошадей в плуг, вспахали и засеяли поле. Было это в сорок втором. Часть собранного хлеба оставили себе, часть отправили в лес, партизанам. И так всю войну.

Через несколько лет трагически погибла во время пожара мать Егора. Собрал тогда Кошев все, что оставалось из скарба, отнес соседям, а сам поехал в город. Определился на хлебозавод, думал—временно, а получилось на всю жизнь. Прикипел к своей работе, постиг всю до тонкостей.

За эту вот любовь к хлебу, за справедливость к людям и нелегкую личную судьбу все на заводе уважают Кошеву и знают, что попусту он ничего не говорит. Каржевич он тогда сказал, что думал: «Не за красивые глаза». Но самое неожиданное и, наверное, самое приятное для Галины было в том, что товарищи отнеслись к ее назначению как к должному, будто и не сомневались раньше, что именно она, Галина Кар-

жевич, возглавит одну из самых больших бригад на предприятии.

И все же отчасти Галина была права в своих сомнениях. Ладить с людьми, не имея достаточного жизненного опыта, не так просто. В бригаде половина незамужних девушек, у каждой свои проблемы: одной парень из армии не пишет, другая в вечернюю смену работать не хочет, третья утром на ходу спит, потому что до рассвета с женихом расстаться не могла. У семейных свое: ребенок заболел, муж не хочет, чтобы она в ночь работала, сын двойку из школы принес... Да мало ли что! И все это отражается на настроении женщин, ведь известно: они ближе, чем мужчины, принимают к сердцу домашние и личные дела. А им хлеб надо печь. И бригадир обязан сделать так, чтобы никакие личные настроения не отражались на работе. Это значит, в каждом отдельном случае надо уметь найти слова утешения, уметь подсказать, поправить, предостеречь.

— Тамара, ну как так можно,— говорила она одной из девушек, работающей пекарем,— все разговоры разговариваешь, а потом схватишься—в спешке у тебя ряды в печь неровные идут.

— Так охота поговорить, Галка, не одной же работой человек жив!

— Мы хлеб делаем, Томочка, пойми. Гляди, сколько нам контролер твоей продукции вернул.

— Ой, не ругайся, честное слово, в последний раз.

Или:

— Ты, Анна, говоришь, что учиться трудно. Да, трудно, но это только сначала, первый год, потом пойдет само собой.

— Да проживу я без диплома, Галя, не таят меня в техникум.

— Ты же прирожденный хлебопек, мастер экстра-класса, других пора учить, а с теорией не в ладах. Да и что дома-то попусту сидеть!

— Ну, нет от тебя спасения, бригадир. Знаешь, иди-ка ты сама с моим мужем объясняйся, не хочет он, чтобы я из дома на эти сессии уезжала.

— И объяснясь.

И объяснялась. Или берет она как-то слово на бригадном собрании:

— Девочки, скоро уезжают сдавать экзамены четверо наших товарищей. Предлагаю так организовать производственный процесс, чтобы их отсутствие не отразилось на работе бригады. Прежде всего, мне кажется, для этого надо добиться полной взаимозаменяемости. Хорошо бы в самое ближайшее время всем поменяться рабочими местами друг с другом...

И девочки, из которых половина старше ее, единогласно голосуют за предложение Каржевич. Через месяц все члены бригады могли работать минимумом на трех участках.

Вскоре бригада Каржевич вышла на первое место в социалистическом соревновании коллектива хлебозавода и до конца пятилетки лидерства уже никому не уступала.

Несмотря на всю свою мягкость и доброту по отношению к людям, Галина умеет быть строгой и непреклонной, когда этого требуют обстоятельства. Особенно если дело касается работы. Как-то вышел из строя редуктор на участке второй печи. Бригадир распорядилась, чтобы линию разгрузили на другую печь, а сама побежала к слесарям. Те сидели в раздевалке и мирно стучали в домино.

— У нас на второй опять редуктор барахлит.

— Ну и что?—спросил один.

— Надо наладить, только и всего.

— Вот обед кончится, и наладим.

— Какой еще обед, там хлеб идет, у нас самая запарка.

— Слушай, ну что ты пристала, люди мы или нет?

Каржевич подошла к столу с домино и как бабахнет по нему кулаком!

— Если сейчас же не выйдете на ремонт, завтра вопрос будет поставлен на партбюро.

Ребята молча и хмуро смотрели на нее.

— И за испорченный хлеб ответите,— тихо добавила Галя и пошла к двери.

— Ладно, расшумелась, идем,— примирительно сказал один из рабочих и поднялся. За ним встали остальные.

Было, наверное, в словах, в поведении Галины в тот момент что-то такое, что заставило этих взрослых, выдавших виды людей прервать обед и пойти к сломанному редуктору. Испугались? Вряд ли. Тогда что же? Скорее всего уважение к человеку, который не боялся конфликта ради дела, его резкая, но все же справедливая требовательность. А уметь требовать от людей, которые знают тебя многие годы, знали еще фактически ученицей, очень и очень непросто. На это нужна смелость.

...Если говорить откровенно, то я никогда прежде не задумывался о том, как делают хлеб и кто его делает. Не задумывался, хотя жил рядом с крохотной пекарней, сохранившейся до сих пор в одном из старых арбатских переулков. Возле нее все время стояла машина, и люди в белых комбинезонах подавали лотки с хлебом через распахнутый люк. От горячих булок исходил сладковатый хлебный запах, напоминавший запах парного молока. И еще я хорошо помню, что мне всегда мучительно хотелось попробовать этого горячего хлеба. Но просить его было неудобно, тем более, что тогда я считал себя уже взрослым.

Но я его все-таки попробовал. Это случилось, когда в двенадцать часов ночи к нам домой неожиданно приехал однополчанин отца. Он был страшно голоден, а в доме по чистой случайности не было ни крошки хлеба. Тогда я вспомнил о нашей пекарне и сказал отцу и его товарищу, чтобы они не садились за стол, пока я не вернусь. Как ни странно, машины у люка в этот момент не было. Но зато возле него на перевернутом ящике сидели две пожилые женщины в белых комбинезонах и курили палиросы. Немного робая, я рассказал о том, что меня привело в пекарню среди ночи, и попросил, если можно, вынести мне кусок черного хлеба. Одна из женщин молча встала и ушла, а через минуту принесла мне горячую буханку. Я спросил, сколько это стоит, и полез в карман за мелочью. Женщина усмехнулась и сказала:

— Вот поживешь и узнаешь, сколько.

Сказала она это так, что дать ей деньги я уже не мог. Можно предположить, что у нее была трудная жизнь: женщины ее возраста начали курить в войну. Можно предположить, что она к тому времени уже как минимум двадцать лет пекла хлеб и умела делать это очень хорошо. Все это можно предположить, потому что на «Автомате» работали женщины, похожие на мою давнюю знакомую. Не тем, что курят палиросы, а отношением к хлебу. Они бы тоже никогда не взяли за него деньги, потому что слишком хорошо знают, чего он стоит.

...Был тяжелый день, понедельник. В воскресенье люди хлеба почти не покупают, но уж зато в понедельник—только давай. У хлебозавода—250 точек, куда он должен отправлять продукцию. И ни одна из них не примет несвежего хлеба. Значит, то, что нарабатывала ночная смена, должно быть еще до утра отправлено в магазин. А на заводском дворе теснятся и мешают друг другу двадцать автофургонов.

В экспедиции я встретил директора. Разгоряченный разговором с кем-то из транспортников, Кошев проговорил:

— Ночью три машины приходят, а утром двадцать, какая же к чертам ритмичность при такой работе, ведь фургоны по часу ждут очереди под загрузку.

Спрашивая, почему так получается.

— Далеко не во всех магазинах налажен круглосуточный прием хлеба; причины разные: в ночную смену работать некому, помещение не позволяет хлеб до утра хранить и так далее. Нам, хлебопекам, обидно за свою продукцию. А ведь как приятно, когда люди, придя в магазин, говорят: «Спасибо, товарищи, за теплый хлебушек». Мы же сейчас рады, если ночная выпечка к обеду до прилавка доедет...

— Почему не снизить ночную выпечку?

— Нельзя. Дай в печь теста меньше положеного, она перегреется, не рассчитано оборудование на неполную загрузку. Словом, проблема. Мы с Каржевич и в главке этот вопрос ставили и на объединенном парткоме, только пока туга дело идет. Да вы у Гали спросите, она все это знает не хуже меня.

Я оставил Кошеву в экспедиции и пошел разыскивать Каржевич, которая недавно была назначена начальником хлебного цеха и могла быть на любом из его четырех этажей.

— В тестомесильном она,—подсказала мне Галя Баранова, сменившая Каржевич на должности бригадира.

Иду в тестомесильный.

— ...Была, ушла в заквасочное. В общем, обошел все четыре отделения и вновь вернулся к печам. Галя была там.

— Специфика нашей работы в том, что мы не можем выпускать хлеба больше, чем нужно. Да и печи наши рассчитаны на выпечку определенного количества хлебобулочных изделий. И так мы почти двести пятьдесят тысяч человек своим хлебом кормим. Значит, задачи наши в улучшении качества продукции, в борьбе за ликвидацию брака, за своевременное выполнение заказов торговых предприятий. Черствый хлеб не покупают, вы это, наверное, по себе знаете, не находите спроса и хлеб неправильной формы, с трещинками, нестандартного цвета. Я уж не говорю о вкусовых качествах, достаточно покупателю один раз обнаружить, что его любимый сорт стал пресен, не имеет соответствующего аромата, и он может надолго потерять интерес к хлебу, который выпечен твоими руками.

Так вот, несмотря на то, что на заводе существует довольно строгая служба контроля, мы, то есть наша бригада, решили организовать свой собственный «пост качества». Исходили из того, что государственными нормами предусматриваются пусть небольшие, но допуски при закладке в тесто сахара, масла, сыровотки, соли. Но мы-то, хлебопеки, знаем, что вкуснее тот хлеб, который получил строго определенное количество компонентов. Вот тут-то и обнаружили немалые резервы повышения качества продукции. За тем, как они используются, теперь следят члены нашего, бригадного, «поста качества». Возможно, на более современных предприятиях такие посты не нужны, там стоят точные дозаторы, электронные датчики регистрируют закладку компонентов и так далее. Но наше оборудование, увы, не последней модели, вот и приходится самим смотреть в оба.

В течение всей девятилетки бригада Галины Каржевич работала без рекламаций. Иными словами, хлеб, испеченный ею, ни разу не был возвращен ни магазином, ни покупателем. Хлебопеки знают, что это такое. Вдвое снизился и без того невысокий процент брака, хлеб, как свидетельствовали контролеры, «...отличается стабильно высокими вкусовыми качествами, внешним видом, всхожестью (есть такой термин). Средняя балловая оценка по обоим сортам хлеба, выпекаемого бригадой, была 7,8». Да, да, каждая партия продукции получает свою оценку, из которых потом выводится средняя. Примерно так же, как определяется средняя успеваемость в школе.

Одна из лучших пекарей-мастеров Минска Галина Каржевич по итогам социалистического соревнования 1975 года была занесена в «Книгу трудовой славы» Министерства пищевой промышленности республики. А накануне XXV съезда КПСС ей вместе с другими молодыми передовиками производства страны «за выдающиеся достижения в социалистическом соревновании по увеличению выпуска и повышению качества продукции на основе внедрения прогрессивной технологии, эффективного использования оборудования...» была присуждена премия Ленинского комсомола.

Двенадцать лет Галина Каржевич отдала хлебу. Если же считать со времени, когда она школьницей собирала колосья, то больше. Но колосья собирают многие, а потом становятся инженерами, космонавтами, поэтами. Каржевич осталась верна хлебу.

И к ней пришла слава. Добрая слава, рабочая. Она не сваливается вдруг, с неба, а зарабатывается постепенно, год за годом, потом, нервами, отказом от многих личных радостей. Эта слава не всегда броская, но прочная, и мера ее—твой труд, то, что ты успел сделать в жизни.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

По этим юношеским стихам, написанным еще до войны учащимся Каунасской гимназии, все-таки нетрудно узнать пылкого Межелайтиса, который не так давно сказал о себе: «Пожалуй, уже обо всем, что можно увидеть на свете, сложил я стихи». Межелайтис — прежде всего литовский поэт, но уже в юности поэзия его перешагнула за границы родного края, и многие стихи из «Первой тетради» — наглядное этому свидетельство. Но «Первая тетрадь» интересна не только как знаменательная веха, стоящая в начале большого творческого пути, она и сама по себе представляет немалую художественную ценность. Интересно и то, что у этих юношеских, романтических стихотворений и судьба необыкновенная, тоже романтическая. В годы оккупации сошедший Межелайтис зарыл их рукописи у себя в саду. И вот пролежавшие в земле почти тридцать лет эти стихи могут теперь служить доказательством, что рукописи не только, как сказано, не горят, но и не тлеют.



Душа в сохе

В соху ты вбил свою ржаную душу,
Но не вспыхнул сокровище земное.
И вот заходишь снова в избу душную
Ты, лемехом убивший солнце знойное...

Набухла полночь адскою иронией,
Как ведьма, глядящая аспидную кошку.
И сон выныривает, словно поезд над перроном,
И отбиваешь ты во мглу замолкшую...

Но на твоём лице, как на прозрачной акварели,
Чюрленжские звездные фантазии.
Твоя соха, деталь земной реальности,
Как зной, парит над синими оазисами...

Твои тоскливые низины оборачиваются горами,
И ты карабкаешься на чюрленжские горы,
Которые, как жерла Фудзиямы,
Вышвыривают в небо кучи золотого сора...

Под утро сбрасываешь ты усталость, как похмелье
И знойная мечта опять в красе и силе,
И вновь взлетает твой крылатый лемех,
И пахнешь ты, вцепясь в стальные крылья...

Всю душу ты в соху вгоняешь снова,
Бредешь, послушный зною, к раскаленным Меккам...
А под вечер спускаешься со склона горного
Ты, солнце загубивший лемехом...

Рыцарь

Апрель, как в двери, в грудь мою стучится.
Все краски ольятели и азыграли.
И я готов, как странствующий рыцарь,
Отправиться на поиски Грааля...

И вот изъездил я пустырь безбрежный,
Доверившись всевышнего заботе.
Но в пустоте и вера и надежда
Уместны, будто лебеди в болоте.

Весь в ссадинах, осмеянный, несчастный,
Не отыскав источника святого,
Вернулся я домой. И после таски,
Как Дон-Кихот, остепенился снова.

Святой Грааль мне снится временами,
Но в поисках не вижу больше смысла.
Беда, когда кидаются камнями.
К тому же Росинант мой обленился...

Снежная принцесса

1
— Снежная принцесса! Правда! Правда!
Вон она, сияет на полянках! —
В пролетарских чертогах подвальных
Гном вопит у мамы на коленях...

— Посмотри, какие локоны, ресницы!
Не гони принцессу от окошка! —
Гномик тянется к ней из подвала,
Точно гриб из ветхого лукошка...

Лучезарные глаза принцессы
Так нежданны в этих мутных окнах...
На полу чертогов пролетарских
Вдруг в истерике забился гномик...

2
Вешайся хоть в подворотне, ветер,
Только не в мой дом несветлом...
Стонут вишни под бинтами, ватой,
Оперированные хирургом-ветром...

Как седло собаке, мне сейчас нужны
Этот ветер, эти вишни в вате...
Хорошо еще, что ржет на привязи
Серый в блоках — мой приятель...

Когда на нем в дорогу я пуцуюсь,
Захохочут даже лещи в овраге...
И меня проводят лишь они —
Ветер-висельник да вишни-бодолаги...

Ты не жди меня. Вернусь не скоро.
Спи, моя принцесса, сладко-сладко.
Пусть тебя ничто не беспокоит.
Я не скоро ворочусь... Не завтра...

Лишь когда нальются солнцем вишни,
Когда марля грязная сотрется,
К Замку Детства я примчусь аллюром,
В золотые постучусь воротца...

Рыцарскою, сильною рукою
В золотые постучу воротца,
И моя прелестная принцесса
Неприменно, обязательно проснется...

Мамонт

Я мамонт, Я несу большую голову
Над ледниками. Я взойти готов
Без принужденья на свою Голгофу,
Которая не ниже всех Голгоф.

Мой взгляд угрюмый стынет понемногу,
И холодеют мощных мышц бугры.
В торосях я торю себе дорогу.
Еще рыбак — и выйду из игры.

Уже меня обсаживают, лижут,
Сжимают ледники. Иду вперед.
Уже я вижу гробовую нишу
Во льду. И в сердце ощущаю лед...

Когда-нибудь, в каком-нибудь грядущем,
Чудовищный скелет во льду отрыл,
Вы убедитесь в том, что я был сущим,
Что я совсем не первообытный миф.

Раскройте-ка словарь моей могилы,
Переверните несколько листов.
И вы поймете, каково мне было
Среди сплошных сплоченных ледников

Ясная зоря

Вдруг зарумянилась, как будто
Девчонка, ясная зоря.
И в то, что это рдеет буква,
Вы не поверили. А зря.

Ведь ею сладостно томимы,
Уже росли стихи — крепки,
Как слово мудрой Диотимы
Или пожатые руки.

Но, как сонет традиционный
Петрарки, верный старина,
Исчезла с миной удрученной
Она в закатной вышине.

Когда в стихах заплачет звонко
Живая буква, она —
Моя зоря, моя девчонка —
Едва ли будет вам слышна...



Первая



Вьюга

И ветра бессвязные речи...
И мертвенно-белые дали...
И только лучистые свечи
Нежнее еще засияли...

А ветер все крутит да вертит,
Без всякого повода злится,
А снег все белеет, как Вертер,
Спящий к последней странице

Шуршали и корчились дали—
Как письма корежатся в почке,
И, словно два ока, сияли
В окне отраженные свечки...

Но сумерки в мантиях длинных
Всем скопом полезли из чащи,
И бодрствует только будильник,
Усами, как морж, шведляши.

Сервированный вечер

Как на столах, на полянках
Пан расставляет сервиз,
В тонких небесных стаканах
Пенится росный сюрприз.

Брызжущей пеною залит,
Как от шампанского пьют,
Лунную арфу терзает
Мой синираморный Пан.

Гром соловьиных ансамблей,
Винных созвездий поток,
Здесь и Платону оставлен
Великолепный глоток.

Сладостный вечер в дурманных
Травах раскинулся весь,
На серебристых полянках
Звездный искрится сервиз.

Разве?

Рассказать задумал я тебе о том, что
(Рассказать и вправду очень захотел!)
В этом поднебесье птицам стало тошно
И они покинут (разве?) наш предел...

Я тебя приблизить думал этой сказкой
(Так желал—не в силах выразить и сам!),
Но когда сложился лтичий гимн прекрасный,
Ты воздела очи (разве?) к небесам...

С птичьим дифирамбом ты домой вернулась
(Застилает осень мне глаза дождем...),
Где-то скрылись птицы, где-то скрылась юность,
Мы ее, конечно (разве?), не найдем...

Ты осталась с птичьим серебристым гимном
(Я лучистым азглядом не блесну в ночи...),
Но однажды ночью ты в жилище зимнем
У окна затеплишь (разве?) две свечи...

Счастье

Взбирается солнце и тут же сползает по соснам,
Загорается счастье, и тут же не было будто...
И только это будет всегда для меня светлосным:
Любовь к тебе—экзотическая, уникальная рута...

А бывало... А счастье, бывало, мне улыбалось
Радостно и бодрливо при каждой встрече,
И в душе отражалась празднично всякая малость:
Зеленоватые холмики, чибисы возле речки...

А бывало... Бывало, обросшие снеговым опереньем
Ели взмывали, как лебеди, вместе со мною,
Над всюю землею, над Жальгирисским ораженьем
Вихревых армий и над самой вышиною...

А бывало... Чего только не бывало... Но восковое время
Законопатило наглухо двери и щели в окнах,
И только ветер теперь позвякивает, как стреля
Арханчского всадника, невидимого в потемках...

Взбирается солнце и тут же сползает по соснам,
Загорается счастье, и тут же не было будто...
Но это, это будет всегда для меня светлосным:
Любовь к тебе—экзотическая, уникальная рута...



Убогая ночь

Октябрь... Над ширью иллюзорной
Мелькает месяц, будто нож,
И кровью истекает черной
Вконец истерзанная ночь.

Сирепый вихрь—палач на плахе—
Ножом играет среди туч,
И мечутся деревья в страхе,
Едва заблещет острый луч.

Он метит прямо в сердцевины,
Разбрызгивая тьму кругом,
Казнил он только что лошину,
Теперь глумится над бугром.

Все голо, Нищеты позорной
Уже и не скрывает ночь,
Над обреченной ширью черной
Мелькает месяц, будто нож.

Сереброкрылые

На обелиски—черные клены—
Белые бластки ринулись вдруг,
Утро примчалось, точно девчонка
На randevu.

Белые лебеди мир захватили
И разбросали перья и пух,
Кружит, как пьяный плотник в кадрили,
Солнечный круг.

Вьются миллионы белых плясуньи,
Белых весталок, белых цариц,
Смутные клены словно уснули,
Кланятся ниц.

Жданное утро ожило, будто
Тень Улялюм, а ветер-буффон
Вдруг распахнул—так, почему-то—
Створки окон.

Первыми кинулись в дом увлеченно
Сонница сереброкрылых, потом—
Сереброкошая ведьма-девчонка:
Хаос! Содом!

Картонная твердыня

Где-то за годами—за горами словно—
Мой картонный замок вовсе не исчез,
Сторожит твердыню змея семиголовый—
Так суровый ельник охраняет лес.

Но лаук крестовый в золоченых латах
Снова сплел ловушку, и опять, злодей,
Он сжимает в липких страховидных лапах
Нежную принцессу—свет моих очей.

Где же Росинант мой, друг мой деревянный?
Мчи к воротам занка, мой волшебный конь!
Словно меч желанный, прутья опоянный
Ловко и надежно лег ко мне в ладонь.

Голову злодею срежу, словно бритвой,
И свою принцессу расцелую вновь.—
Сколок с несравненной белой Афродиты,
Только не из пены, а из мела снов...

Перевал с литовского
Леонид МИЛЬ.

Было на

Гарий НЕМЧЕНКО

Было время, когда мы приступали к Белому: а когда у нас будет наконец настоящий клуб? Когда молодежное кафе? Стадион?

И столько раз эти вопросы задавались, что и ответ я помню наизусть: «Не все сразу! Вот погодите, немножко разбогатеем... Пустим завод, начнет он давать продукцию, тогда всего понастроим!»

Вроде оно и верно: еще ничего такого не сделали, над заводскими цехами ни одна труба пока не дымит, а стадион им подавай. В футбол играть приехали, что ли?

То ли в российском характере есть такая черта—не требовать благ, которые не выстрадал, а то ли это доля строителя-первопроходца: он, как никто, может быть, другой, жертвует настоящим во имя будущего.

Какое там действительно молодежное кафе, когда на четвертых да на пятых этажах нет холодной воды, а о горячей все пока только мечтают? Какой в самом деле Дворец спорта, когда не хватает яслей да детских садов и в молодежном поселке самый необходимый человек—это бабушка?

Но вот уже отошло то время, когда поезда, привозившие на Запсиб стройматериалы да оборудование, возвращались пустыми. Сперва наш кокс пошел по стране и продукты химии, потом чугун, сталь, прокат. О поселке на Антоновской площадке стали говорить: городок строителей и металлургов. И жило в нем без малого уже сто тысяч.

Еще недавно люди мерзли и недосыпали, ведь было же такое, когда не только девчата, но и парни, жившие в общежитиях квартирного типа, по очереди ночевали в крошечных «фотокомнатах» да кладовках. Только там и держалось тогда тепло. И все это считалось в порядке вещей, и никто ничего такого не требовал. А теперь вдруг вспомнили о тепле да об уюте... Стали старше? Или выросли дети и захотелось, чтобы сын побежал в кружок при Дворце пионеров, а дочка пошла в музыкальную школу? А ни того, ни другого на Запсibe в общем-то не было.

Не без гордости у нас говорили, что на Антоновской площадке самая высокая в России рождаемость. Но последний этого рекорда так и не сумели предусмотреть. Рядом, в городских школах, иногда был тот самый «недокомплект», а наши первачки—неимоверное количество первачков, в каждой школе насчитывалось по восемь, по десять первых классов,—первачки занимались в четыре смены.

И один за другим люди стали покидать стройку. Грустная это штука, когда уезжают те, вместе с кем ты столько лет жил одними и теми же заботами. Когда уезжают твои друзья.

Задним числом не раз и не два я принимался размышлять: почему так получилось? В пятьдесят седьмом, когда началась стройка, не только Антоновская площадка—вся страна была победней. Но ведь потом год за годом все тверже она становилась на ноги, жить люди стали лучше и культурнее, вошли, что называется, во вкус и где-то кого-то уже одергивали, чтобы не увлекались излишествами. Почему же мы на Антоновской еще не построили в то время самого необходимого?

Захватила горячая работа? До сих пор продолжали считать, что быт—это не столь важно?

Хотя пришла пора и это пересмотреть, допустим пока, что новостройка и в самом деле такая штука, которая требует определенного самопожертвования. Допустим, так. Но есть, я теперь страстно в этом убежден, есть в ее жизни такая пора, когда одного энтузиазма становится недостаточно и медлить с благоустройством тылов больше просто нельзя, ибо тот самый новый быт, которого все так хотят на новом месте, может потом уже и не привиться...

В тот день, когда торжественно открывали высокий, с голыми фермами под крышей и потому очень похожий на вагонное депо «Комсомолец», прошел проливной дождь, грязь вокруг была непролазная, и в большой луже недалеко от главного входа запсибовцы истоиво терли кирзачи и резиновые ботики. Стоявший у двери директор Дома культуры и бессменный руководитель художественной самодеятельности Валентин Осипович Осипов поднимал палец и значительно хмурил короткие и густые брови:

— Семечки из карманов... семечки!

И семечки выбрасывали—как жгли корабли.

Сколько раз потом в зале на 800 мест шел какой-нибудь не такой чтобы очень концерт, а народу было битком, и толпами стояли на улице—милицию приходилось вызывать и дружинников, чтобы безбилетники не пытались сорвать двери.

А когда через семь или восемь лет после этого построили



наконец приличный Дворец металлургов, я пошел на концерт Таллинского мужского хора и уже перед самым началом с неловкостью вдруг обнаружил, что на сцене народу больше, чем в зале... Перехотели?

В тот год, когда народ побежал особенно сильно, когда чуть ли не впервые за все время существования стройки пришлось брать вербованных, мы, несколько «стариков», пошли стучаться во все двери: Антоновской площадке надо помочь!

Что-то нам обещали, а чего-то ни на стройке, ни в городе не могли и пообещать, но мы все равно пытались, кто чем, помочь-стройке. Сам я написал большую статью о проблемах Антоновской площадки—«Новый город на земле». Послал ее сперва в один журнал, потом в другой, но она, как это часто бывает, и тут и там очень долго лежала, ее то снимали, то снова вроде бы ставили... Я уже махнул на нее рукой. И тоже собрался уезжать.

Были у меня на это особые причины, да только у кого ж они, когда уезжают, иные? В общем, чего там теперь оправдываться, уехал.

А через полгода вышла эта моя статья. Когда увидел ее в журнале, у меня душа замерла: вот так раз! Что теперь обо мне подумают на Антоновке? Попробуй теперь докажи, что написал ее тут, на стройке, когда болела за наш поселок душа. Друзья—хорошо, хоть давал им почитать статью, когда написал—один за другим уже слали письма. На Запсибе, мол, так и говорят: пока жил тут—все ему было хорошо, а как уехал...

Я себя в самые трудные минуты подбадривал тем, что сибиряк, что с Антоновки, а там, оказывается, вон что обо мне думают! На сердце у меня было тяжело.

И вдруг получил весточку от Ивана Григорьевича: «Все не хватает времени написать письмо—то одно, то другое. А собирался сразу после того очерка (или как он там называется?) в «Сибирских огнях». Возмущение у некоторых было страшное. Звонили, спрашивали мое мнение. Я же думаю, что раньше ее нужно было публиковать, да не одну, и «во весь голос». Это было бы правильно. Все увлеклись промышленностью, а в этом деле направления, главной линии не было. Сейчас мы на заводе начинаем исправлять положение. Намечаем, что построить в первую очередь, деньги ищем. Но тяжелое это дело.

Раскурили помаленьку спорткомплекс. Заканчиваются работы на больнице, прекрасная будет. Сдали замечательную поликлинику с водолечебницей. Большие работы провели по благоустройству наших проспектов. (Внесли предложение переименовать их в проспекты Молодежный и Запсибовский. И один еще остался без названия—может, подумаете?)

Приедешь на Запсиб и не узнаешь. Место в «Металлурге» тебе будет».

И это шутовское обещание места в запсибовской гостинице было для меня тогда как высшая награда...

Кажется, в шестидесятом году прошла на Антоновской целая кампания: и открытое письмо сочинили и обили порог в горкоме—добивались, чтобы дирекция будущего завода переехала на стройку, и чтобы директор с главным инженером поселились в поселке на Антоновской площадке. Тогда, мол, гораздо легче будет решать и производственные вопросы и бытовые.

Первая часть этой кампании удалась, но вот вторая...

Из города никто не хотел уезжать, и сколько их было потом, таких кампаний, кого только не пытались заставить переселиться в поселок—эти полтора десятка километров, что отделяют Новокузнецк от Антоновской, воистину были непреодолимы. Больше того, несмотря ни на какие строжайшие постановления, во все годы чуть ли не считалось общепринятым: как только более или менее вырос человек, как по службе продвинулся, получил персональную машину—он тут же перебирался в город.

Из руководителей стройки один только Белый так и жил на Запсибе с апреля шестидесятого, только он и месил тут грязь и сидел без тепла и без воды. Может, кому-то постороннему эта деталь покажется незначительной. Но запсибовца тут не проведешь. Он знает ей истинную цену.

Подумалось, когда прочитал его письмо: или Белому тоже надело на своей шкуре испытывать последствия промахов со строительством объектов того самого «соцкультбыта»? Или в силу своего положения он теперь острее многих других осознает и свою причастность к судьбе Антоновской площадки и свою за нее ответственность? Или это просто деловой, как всегда у него, рассказ о том, какими живет он сейчас заботами? Когда Антоновская площадка официально стала Заводским районом Новокузнецка, Белый три или четыре

Рисунок Вениамина КОСТИЦЫНА

Продолжение. Начало в № 12.

Записки...

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

года работал первым секретарем райкома партии. Может быть, ему, привыкшему и к конкретному руководству и к непосредственному участию в производственных делах, показалось, что слишком общими сделались тогда его руководящие обязанности?

Как-то один из областных партийных работников сказал о нем: «Спец по живому делу». А самое живое дело на Антоновской площадке было теперь, конечно, на новом заводе. Там все бурлило, все было в движении. Еще продолжал складываться коллектив, еще сталевары да прокатчики не отвыкли говорить: «А вот у нас в Череповце...», «А у нас в Жданове...» — а на заводе уже подумывали о досрочном освоении проектных мощностей новых цехов.

И Белый попросился на завод.

Начинать ему в новом парткоме по иронии судьбы пришлось почти так же, как когда-то у строителей.

Перед этим на Антоновской площадке рассказывали об одном заседании бюро райкома, на котором отчитывался директор Западно-Сибирского металлургического завода Леонид Сергеевич Климасенко. Человек и крутой и своенравный, он еле дослушал выступления членов бюро, а потом, когда ему дали слово, в котором он, как водится, должен был и признать грехи и покаяться, директор, обращаясь ко всем вместе, негромко, но твердо поинтересовался:

— А что вы в ней понимаете, в металлургии-то?

Перевел взгляд на сидевшего с ним рядом и перешел, как говорится, на личности.

Досталось всем сестрам по серьгам. Когда дошел, наконец, до первого секретаря, красноречие его уже иссякло, и он только сказал:

— А ты-то в ней, Иван Григорьевич, что понимаешь? Какой ты металлург? Да ты уже все давно позабыл — ты строитель!

— У вас все? — спросил Белый.

И Климасенко впервые согласился:

— У меня все.

— Ну, что ж, товарищи члены бюро, — сказал Белый, — придется все начать сначала. Кому первому слово?

Так или иначе на металлургический завод Белый пришел с твердой репутацией опытного строителя.

Начинать ему пришлось опять нелегко. Теперь он стал одним из руководителей того самого, воюю уже давашего продукцию, уже богатейшего Записба, и в тот раз, когда я впервые после своего отъезда собрался на Антоновскую площадку, мне очень хотелось напомнить Белому давние наши разговоры, которые начинались с одних и тех же слов: «А когда у нас...»

В тот раз я и в самом деле не стал останавливаться в городе, а поселился в «Металлурге» на Антоновской — недалеко от бывшего своего дома. Не успел еще вещи разложить, как уже начались звонки, и чуть ли не самым первым позвонил один из записибских «стариков», Коля Парамонов, работавший теперь директором Дворца спорта.

— Ты там писал: негде заниматься спортсменам... — сказал без всякого предисловия. — И надо тебе прямо сегодня посмотреть наш Дворец.

Я сказал, что день у меня уже забит, что по крайней мере до одиннадцати вечера буду занят, и он тут же согласился: хорошо, мол, буду в одиннадцать.

Записиб есть Записиб!

И в двенадцатом часу ночи мы с Колей вдвоем неторопливо бродили по просторным залам, в которых привычный запах пота еще мешался с запахом свежей краски. Невысокий и худенький, так и оставшийся живчиком, Коля, забегая вперед, по-хозяйски широко распахивал двери, потом отступал на шаг, начинал на меня победно поглядывать, и мне просто больше ничего не оставалось, как вздохнуть — наконец-то, мол! — и покачать головой — это да! — и развести руками — ну, что тут скажешь?!

Потом, уже за полночь, когда можно было сказать, что и дружеские привычки он ни на каплю не изменил, сидели мы у него в кабинете, и Коля рассказывал доверительно и чуть растроганно:

— Ребята, что на спорте начинали, давно уже кто куда ушли, хорошо устроились... Мне часто: Николай, а ты чего тут? Присох?... Ты-то, небось, не помнишь нашу команду по легкой атлетике в шестидесятых? Я ведь из армии приехал — чемпион округа! «Коронка» была — стометровка. А тут... где тут тогда было развернуться? Забросил все. А теперь, когда старшее стал, думаю: пусть у этих ребят, что вслед за нами сюда приехали, пусть у них будет по-другому, так — нет? Знаешь, сказал себе: пока плавательный бассейн

да стадион не построим, отсюда никуда. Вот и заворачиваем тут теперь. С Белым на пару. Он на каждом рапорте, на каком только можно совещании: забыли поговорить о спорткомплексе! Дед при этом аж зеленеет...

Дед — Леонид Сергеевич Климасенко, и прозвище это пришло за ним еще с Кузнецкого комбината, где он был главным сталеплавильщиком.

На том бюро, о котором потом анекдоты рассказывали, насчет того, кто и что понимает в металлургии, он, пожалуй, интересовался не зря: сам был металлург до мозга костей, кроме завода, ничего не хотел знать и любой разговор, который отклонялся от технологии или, предположим, от заводской экономики, считал безделицей...

На заводе Климасенко проводил дни и ночи, в любое время суток он мог появиться в самом неожиданном месте. Случалось, его провожали-таки наконец домой, но часа через два-три он снова вдруг как ни в чем не бывало выходил откуда-либо из-за угла, выныривал из-за какого-либо агрегата, еще издали хрипло кричал, тянул сухонькую руку с грозным указательным пальцем. Начинался нелегкий разговор, в котором не было места для дипломатии, и для людей потом так и оставалась загадкой: уезжал ли директор домой перекусить да часок-другой передохнуть или до сих пор не вылезал из цеха?

Казалось, он не любил ни праздников, ни других радостных событий, которые вольно или невольно нарушали привычный ритм, и на торжественных собраниях говорил все об одном и том же — о работе, о недостатках, причем в выражениях не стеснялся почти так же, как и у себя в кабинете. Как-то однажды даже на Восьмое марта не мог удержаться, чтобы под горячую руку не сказать примерно такое: да, мол, все нынче празднуют и поздравляют прекрасных тружениц. Мы бы тоже на заводе поздравили, да где у нас таких взять? Вот и приходится говорить высокие слова тем, какие есть, — ничего не попишешь. С праздником вас, дорогие товарищи женщины!

У нас, у записибских «стариков», с Климасенко были как бы свои особые счеты: это от него ведь теперь во многом зависело строительство соцкультбыта на Антоновской. А он, видите ли, мало того, что ничего не строит, он еще и с людьми разговаривать не умеет!

И в тот приезд я не без некоторого тайного злорадства спросил у Белого: а куда, мол, смотрит партком?

— А я ему тогда обычно начинаю про Бунина говорить, — прищурился Белый.

Я ничего не понял.

— У него любимый писатель — Бунин. Были как-то у меня, вот он ходил-ходил около полок с книгами, и на корточки присаживался, и на цыпочки становился. Потом говорит: хорошая у тебя библиотека, а вот Бунина нету. Придетесь тебе пятитомник подарить, у меня теперь есть девяти томное собрание, а это все равно берег — как знал, радуйся! Захожу к нему на следующий день, достает из шкафа: бери! А я, слушай, к стыду своему, Бунина тогда почти и не знал. А тут как взялся! Эти пять томов, считай, захлеб прочитал. Верись, как будто дома побывал. Под Воронежем. Да разве только это?... А потом думаю: как же так? Если человеку такой писатель нравится, если дома у него на самом, можно сказать, почетном месте, значит, есть в душе у человека тяга и к красоте, послушай, и к нежности... Так ведь? И живет она по соседству с криком, бывает, и с бранью. Потому что такой характер. И такая, случается, обстановка... Вот как он погорячится, я теперь и начинаю. Опять вчера перед сном, говорю, Иван Алексеевича читал. Бунина. Какой язык! И тонкость и деликатность какая! Никогда, говорю, Леонид Сергеевич, не задумывались, что весь этот богатейший мир чувств, что нам оставил писатель, — это тоже как бы наше национальное богатство? Такое же, как наши домны? Гляжу, начинает на переднем сиденье ерзать... Вроде заговорить порывается, да что-то ему не дает. Теперь, бывает, как почувствует себя виноватым, так мне: опять мы с тобой сегодня будем о Бунине? Что это за жизнь такая — некогда о любимых книжках поговорить, без всякой, мол, задней мысли, а просто чтобы душу отвести...

Позволю тут себе небольшое отступление... С давних пор люблю поразговаривать с Белым, особенно если эта самая заполошная записибская жизнь отпустит его на часок-другой, так, чтобы можно было, не торопясь, пройтись с ним на лыжах, постоять, глядя на поселок, среди завьюженных берез на Маяковой горе, а потом выпить в тепле крепкого чаю и посидеть на диване. Мне всегда казалось, что рядом с ним легко думается, что на многое, чего не мог понять до сих пор

находишь ответы, и только нынче стал понимать: а может быть, это оттого, что о том же самом он уже размышлял до тебя, размышлял основательно, с присущей ему крестьянской дотошностью?

На войне его ранили в первом же бою, и на передовую он больше не вернулся, но все остальные тяготы, выпавшие на долю его поколения, ему пришлось пережить, ко многому притерпеться, и, может быть, тогда, в шестидесятые, ему было непривычно работать рядом с нами, по молодости своей очень многое норовившими брать наскоком?

Проблемы гигантской стройки, а потом и громадного завода он самоотверженно пытался решать всеми доступными в его положении средствами, несмотря ни на какие трудности, никогда не опускал рук, а упорно продолжал какую-то главную, как мне теперь кажется, свою линию: не ждать всеразрешающих высоких постановлений, а добиваться, чтобы тут, на Записбе, каждый на своем месте сделал все, что в его силах.

— Бывает, задержусь на работе, — рассказывал он в тот мой приезд. — Потом к директору: захватите, Леонид Сергеевич? А то своего шофера уже отпустил. Поедем, перед самым поселком говорю: хотел было нынче проскочить на плавательный бассейн, посмотреть, что там делается, да времени так и не хватило. Может, подбросите? А оттуда уж я пешком. Вдохнул он и за мной следом... Через недельку, глядишь, еще куда-нибудь с ним заедем. Потом он как-то: «Что ты меня все за собой таскаешь?» И пошел у нас разговор. А вот давайте-ка, говорю, дорогой Леонид Сергеевич, разберемся: для вас завод — это все. И работа, и увлечение, и смысл жизни. И отдых, говорю, тоже... А он перед этим и в самом деле рассказывал: полночи не спал, все думал, как выйти из прорыва, голова разболелась, а потом плюнул на все, позвонил в гараж, чтобы прислали дежурную машину. Приехал на второй конверторный, походил там да постоял, посмотрел, как все четко да хорошо, — ты веришь, говорит, давно так не отдыхал! Напомнил ему — рассмеялся.

А я дальше: а теперь, говорю, давайте представим, что горновой наш, который только что отстоял у горячей печи, поднялся бы среди ночи и поехал на завод отдохнуть. Или, допустим, что вернулся он со смены, перекусил бы да и опять в цех. Ему там нечего делать: там на его месте уже другой человек. А этот хорошо поработал, спасибо ему, он теперь со спокойной душой и с чистой совестью отдохнуть должен, и разве не наша с вами святая обязанность — подумать, чтобы получилось это у него с толком? У вас любимое дело, вы счастливы уже оттого, что можете отдаться ему целиком, а у него, может быть, совсем другие планы, и счастье свое он не с черной металлургией связывает — что ж тут страшного? Один, предположим, решил, что всего себя отдаст детям... В другом, может быть, какой великий талант пропадает, а он сидит после смены дома и в лучшем случае телевизор смотрит. Вот давайте-ка, говорю ему, так вот, без никаких, заедем сейчас домой к кому-либо из горновых, да посмотрим, чем занимается человек, да обо всем, чем у нас можно заниматься, по душам и поговорим...

Я спросил тогда с интересом:

— И заехали?

Белый сперва, покачивая головой, потихоньку рассмеялся, только потом опять заговорил:

— Пробыли с ним весь вечер у одного хорошего парня, мы его тогда только что в кандидаты партии приняли... Тот и обрадовался и вроде засмутился. Сейчас, мол, за обер-мастером сбегаю, он в соседнем подъезде. Потолковали мы о том о сем, чайку попили, выходим, а Леонид Сергеевич говорит: спасибо тебе, хорошо посидели. Теперь бы еще на завод съездить!

На Рижском взморье я узнал от Ивана Григорьевича, что директор тяжело заболел, нашли рак легких, а когда приехал теперь на Антоновскую площадку, Леонида Сергеевича Климасенко уже не стало.

Рассказывали, как мужественно боролся он с грозным недугом, как новокузнецкие врачи, которых почитают не только в Сибири, пытались его спасти... В горисполкоме теперь решали, какую из улиц на Антоновской площадке назвать именем этого беззаветно, до одержимости преданного черной металлургии человека, и я, когда услышал, подумал: а вдруг это будет одна из тех улиц, куда «затаскивал» его Белый, когда поздним вечером ехали они с завода домой и вели эти свои долгие разговоры и о стали, и о душе человеческой...

И думал об этом еще долго — и с грустью и как будто с виной.

Не знаю, как написать о встрече с Запсибом.

Для меня это все равно, что пытаться передать на бумаге радостный и неровный стук человеческого сердца.

И правда, удивительное это все-таки дело — страна твоей молодости! Ты уже отсюда уехал, а что-то твое все равно осталось тут навсегда. Не знаю, как оно без тебя существует, — незримой тенью живет ли в очертаниях знакомых улиц, особенным ли каким зарядом держится в воздухе над домами да над крышами, но стоит только тебе увидеть эти улицы, стоит только вдохнуть этот воздух, как происходит почти волшебное соединение в тебе прошлого с настоящим, и ты уже и чувствуешь взволнованней, и видишь острее...

Деревья, которые ты видел когда-то большими, становятся потом обычно поменьше, а здесь ты неожиданно замечаешь: эти, что вместе с друзьями сажал еще на первых комсомольских воскресниках, только сейчас-то и вымахали, только нынче наконец-то и стали очень большими, и это вдруг покажется тебе таким важным, что захочется к одному из них подойти и руку положить на темный шершавый бок.

Кто-то из старых знакомых будет неторопливо идти тебе навстречу, посмотрит на тебя вдруг внимательно, но тут же равнодушно отвернется: ведь для него это просто человек, похожий на тебя, а ты отсюда давно уехал...

Зато вдруг буквально подлетит к тебе кто-то другой, от полноты чувств хлопнет по плечу так, что завтра ты будешь пошевеливать им с осторожностью, с неподдельной радостью громко скажет:

— Что-то тебя давненько... как дела?! Собираюсь все к тебе заскочить, да жизнь, сам знаешь. А надо бы как-то собраться старикам!

Больше пятнадцати лет назад ты встречал его каждый день или в единственной тогда на стройке столовой, или в крошечном клубе, или просто на улице, а теперь уже сто лет вы не виделись, и слышать о тебе он тоже давно уже ничего не слышал — и что ж тут особенного? Все в порядке вещей: вон какой нынче на Антоновке город!

А стройка?

В самом начале шестидесятых годов тут были десятки глубоководных котлованов с торчащими на дне головками свай, были разбросанные здесь и там разного калибра серые фундаменты да ребра железобетонных колонн.

Как-то однажды мне пришлось подняться над заводской площадкой на вертолете, и вид этого почти бескрайнего остова вызвал и веселое удивление, и чистосердечный испуг. Казалось почти нереальным доделать эту словно какими-то гигантами начатую работу, и лишь одинокое здание крошечного ремонтно-механического цеха, над которым уже подрагивал тогда еле заметный дымок, ютилось, словно робкая надежда...

А нынче уже завод стеснил стройку, навис над ней громадами шумно дышащих корпусов, прижал к земле бесконечными галереями да черным переплетением металлических труб, наглухо прикрыл белым паром да разноцветными дымами.

Когда-то мы с завистью поглядывали в сторону города: в хорошую погоду за рекой над Кузнецким комбинатом видны были неслышные алые слодохи. Нынче можно, пожалуй, и поспорить, над каким заводом темными ночами ярче разгорается просторное небо...

А стройка все идет, все поднимаются и поднимаются над землей цехи, один другого мощней.

Помнится, в одном из первых номеров многотиражка наша писала, что можно всю долгую жизнь проработать на нашей стройке — столько здесь будет работы... И что ж, сбывается: уже по восемнадцать лет, считай, отдали Запсибу самые первые из наших «стариков», а конца-краю стройке так и не видно!

Неделю или полторы раскатывал я по Антоновской без всякого плана, жил в это время, что называется, как бог на душу положит: чуть свет уезжал на промплощадку с одним из старых своих товарищей, встречал там кого-либо другого, вместе звонили третьему, и из машины в машину, случилось, я пересаживался где-либо на полдороге — все хотелось объехать, всех повидать, со всеми поразговаривать.

Белому я позвонил еще в первый день, но встречу с ним оттягивал, все выспрашивал у наших ребят, которые уже прочитали журнал: как оно со стороны — ничем таким человека не обидел?

В воскресенье утром, когда пришел к нему наконец, Розы Каримовны не было, на месяц уехала в Кемерово, и он хозяйничал сам, варил фасолевый суп с курицей. Из небольшой широкой кастрюли настырно выглядывала белая лодыжка, и он то пытался для порядка утопить ее, то крошил на толстой досточке лук, закрывал при этом глаза, морщился, и лицо у него было такое страдальчески озабоченное, что целиком за счет супа это никак нельзя было отнести.

С видом, нарочно виноватым, я стоял у окна, ждал своей участи, но он пока предпочитал тему гастрономическую.

— Это Вовка у нас любит фасоль. С вечера в кастрюльке замочил, приготовил, а утром встаю — его уже и след прощыл. Варить ему будет дядя...

Я пытался попасть ему в тон:

— Пана.

— Отец, да... А ты как — с фасолью? Я вообще тоже ее люблю, и Сережка, он сегодня, пожалуй, придет, в Мысках у нас теперь — доктор!

А голос был ворчливый, я невольно вздохнул, и он тоже не выдержал наконец:

— Ну тебя, слушай, с твоим романом — задаешь задачки. Будут в области пальцем показывать...

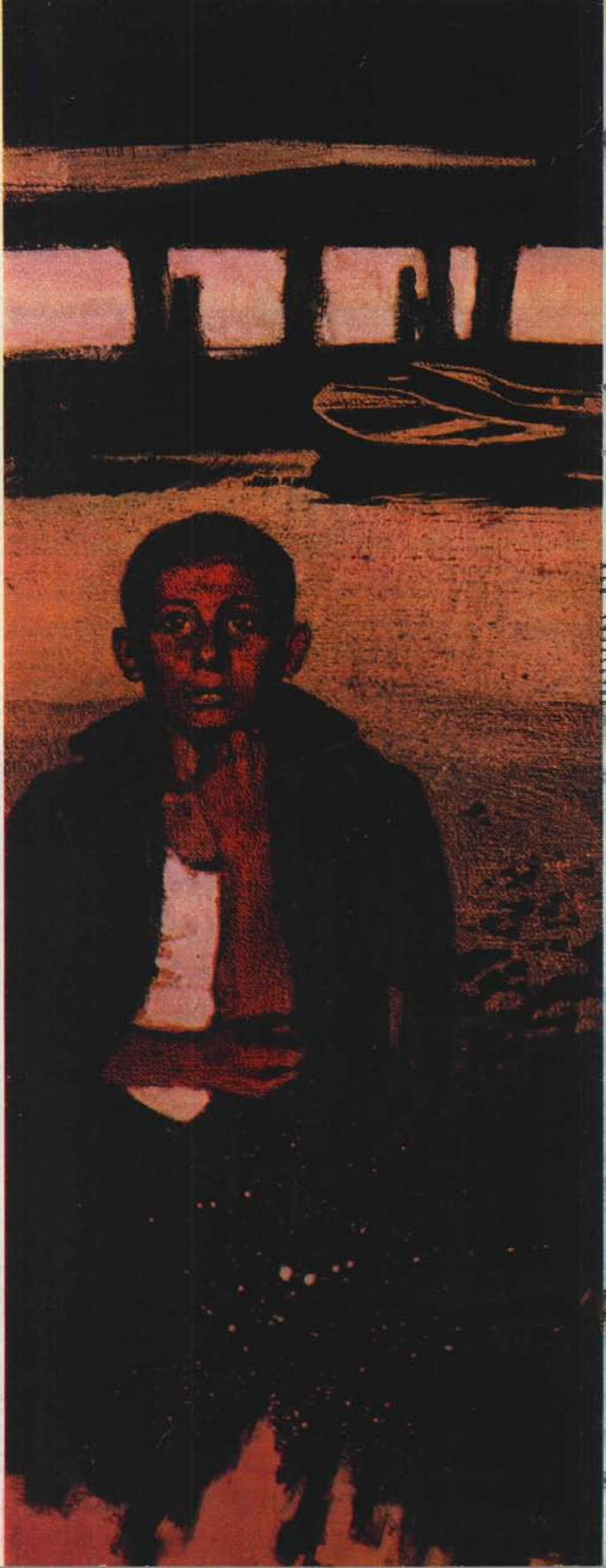
Константин ГЕРДОВ

РАССКАЗ

ШЕЛЛЕР

► На стр. 26.

Рисунок
Марины
ПИНКИСЕВИЧ





Я знаю Константина Гердова уже несколько лет и с огромным любопытством наблюдаю за его литературным совершенствованием. Несколько запоздало, как, впрочем, многие из нас, прорвавшийся к сокровищнице человеческого опыта — к мировой и отечественной культуре, он принялся наверстывать упущенное жадно, взахлеб, и первые его прозаические опыты были наполнены самыми различными литературными влияниями — от древних греков до Марселя Пруста. Слог его нередко был туманен, высокопарен, но сквозь неуклюжесть грамматических и логических конструкций прорывалось главное: чувство огромного загадочного мира природы и жизни людей и попытка найти себя в природе и в людях.

Гердов вырос в Гаграх, в простой трудовой семье, и море стало одним из главных героев его первых произведений. Несмотря на то, что он много работал в Сибири в составе геологических экспедиций и писал об этом, лучше всего у него все-таки получалось море. Эта соленая морская вода стала как бы материнским молоком его прозы. Острое ощущение моря как части мировой бесконечности нередко доходит у Гердова до физического и духовного перевоплощения, когда он чувствует себя проливом, по которому проходят корабли, рыбацьи баркасы и в теле которого бесшумно скользят рыбы. Он умеет сказать о море по-своему тонко, поэтично: «В волне ценность вещи, которую держишь, но которой никогда не владеешь».

В последнее время, несколько отойдя от одического воспеания моря, Гердов написал цикл рассказов о тех людях, которых он хорошо знает с детства и которые, как он, своей духовной сутью неотъемлемы от моря. Эти люди как бы человеческое лицо моря. Гердов прекрасно чувствует не только море, но и землю и, главное, руки людей, возделывающих эту землю, дарящих ей свой труд, свою любовь. Материнство самой земли и сыновья преданность ей органически сливаются в этих рассказах. Иногда быт, диалоги и природа в его рассказах существуют как бы обособленно, но когда наступает естественное слияние, жизнь предстает одновременно и в ее земной конкретности и в то же время в ее внутренней возвышенности, и на этом пути, как мне кажется, Гердова ожидает успех, если он будет совершенствоваться и далее.

Представляя читателям его рассказ, я хочу пожелать молодому писателю очиститься от всего лишнего, наносного, как самоочищается море от нефти и от мусора. Но путь к избавлению от этого лежит не только в собственной кабинетной работе, а и в печати. Мне кажется, что факт появления рассказа в «Смене» поможет Гердову трезвее оценить и недостатки собственной работы и ощутить собственные потенциальные возможности, в которые я искренне верю.

Евгений ЕВТУШЕНКО

На обочине тротуара, возле самого многолюдного места в городе — мальчик лет четырнадцати в выцветшей майке. В латаных штанах. С пронзительными глазами. Широко расставлены ноги. Гордый и независимый вид.

На земле ракушки. Но около них никого нет. Никто не тянет руку к товару. Не покупает. Большие и чистые ракушки лежат.

Ладонь мальчика прижата к уху. Сквозь пальцы видна белая стираная тряпочка. Ею заткнуто ухо.

Перед глазами неспокойное море. Зеленое море. Таким оно всегда бывает после шторма, когда приходит в себя, чтобы перейти потом к нормальному состоянию — к синему морю.

Горячие камни, горячий песок. Не прислонить ладонь. Место, где песок мешается с галькой, — светлое.

Раннее утро. Мальчик вспоминает...

Вот он, Анести, поправил плавки, поправил сетку, подвязанную к широкому кожаному ремню, и нырнул.

Сетка, куда он складывал выловленные ракушки, не мешала ему. Она только чуть потянулась кверху, словно желая тоже в последний раз глотнуть воздуха, и прилипла к бедру.

Теперь Анести подрост и мог много дольше прежнего пробыть под водой. Теперь ко дну он шел гораздо быстрее, чем раньше, когда воздуха в легких не хватало даже на продолжительный бег по земле.

Теперь ребята удивлялись ширине его грудной клетки.

Анести нащупал в темноте несколько ракушек. Через мутную воду почти не проходил свет. Он оттолкнулся носком от песка. Пошел вверх. Все-таки не хватило воздуха. Скорей, скорей! В такой воде ничего не видно. И приходится делать так много ненужных усилий. На них уходит драгоценное время. А морская вода не терпит суеты. Люди земли, прежде чем прийти к воде, должны сориентироваться на суше. Для этого она им дана.

Снова боль в ушах...

Анести увидел ее сквозь толщу воды — эту огромную ракушку. Она была много больше обычных, тех, которые всегда доставал.

Ракушка лежала чуть дальше его каждодневных маршрутов, за песком, который устилал гальку. За песком место пристанища всех неожиданных ракушек.

Наверху садилось солнце. Сюда же сквозь мутную воду лучи почти не проникали. Но в воде все равно плавал размытый тихий свет.

Вот и граница его территории. За нее он раньше не выходил. Но сегодня мальчик впервые пошел дальше. И море ответило на вторжение. Сдавило уши.

Мальчик не был готов к такой глубине. Но уже глотая морскую воду, он успел-таки дотянуться до ракушки. Он не мог ее уступить никому, даже морю, которое занимало в нем больше всего места. Потому что оно его кормило.

Анести выплывает к берегу. Долго он будет очищать раковину от моллюсков и зеленого мха.

Вечерами, когда темнело, он разводил на песке костер. Приносил ржавое ведро, наполненное морской водой, ставил на огонь. Ссыпал в жестянку добытые за день ракушки.

Горели дрова, выброшенные прибоем. Шло медленное время. Улитка, вначале прятывшая голову в перламутровый панцирь, выползла из своей раковины, и Анести вытаскивал ее большим ржавым гвоздем.

Звездное небо. Дым ровными струями идет вверх. Блики огня на лице мальчика. За его спиной ночное море. Шлепает и шлепает о гальку, как будто чем-то недовольно на земле.

Голова Анести повернута к горам. Там кое-где высвечиваются огни.

Идет война. Многие жители городка — женщины, старухи и дети, которые постарше, — поднимаются в горы сажать картошку. Нагруженные домашним скарбом, идут к самой вершине хребта. Много раз передохнут, много раз поплачут от горя, снова навалят на себя скарб и снова пойдут вперед. В черных горах огоньки. Это женщины сажают картошку, ночуют в шалашах, сторожат ее. Но за все время, сколько они помнят, только медведь однажды подошел к краю поля.

Все женщины и дети живут в одном большом балагане. Его построили мужчины, когда еще не было войны.

Много женщин собиралось в одном балагане — чужих и своих. Шутили, смеялись и этим поддерживали друг друга. И еще работали — от темна до темна. Потому что не было в городе других рук. И не было мужчин, чтобы помочь или хотя бы подбодрить — им и этого было бы достаточно. И женщины жили на хребте, тонком, как лезвие. Справа смерть, слева жизнь, и нельзя пошатнуться.

Над балаганом огромные сосны, ели и полированное, с прожилками звезд мраморное небо.

Тот, кто живет на берегу моря, даже в голод не умирает, если у него есть хоть немного желания выжить. Так думал мальчик. Он знал, что штормы не приносят ничего, кроме добра. Это ощущение той, военной поры.

Шторм обычно начинался ночью. Когда все спали. Видимо, все изменения мира происходят под покровом темноты. Люди просыпались, встревоженные какими-то неясными и приглушенными ударами. Это могла быть бомбежка. Потому что далеко за перевалом проходил фронт. За горизонтом громыхала канонада.

Все полулежали в темноте, белея ночными сорочками, прислушивались. Потом успокаивались: так мерно могли биться только волны моря. Но ощущение тревоги не проходило.

Как только начинало светать, все шли на берег. Всмотривались. Шторм выбрасывал пустые консервные банки, попавшие в море еще до войны, выбрасывал доски, дрова, разбитую мебель. Штормы во время войны — кормилицы. Чего только они не приносят на своих гребнях!

Недалеко от прибора стоят маленькие дети — каждый возле своей груды находок. Охраняют то, что нашли матери.

Мальчишки и взрослые ходят вдоль берега — ищут рыбу, выброшенную морем. В основном это хамса. Она лежит у самой кромки волн — безжизненная, вялая. С одной стороны уже подсушенная, сморщенная, как бумага.

...Анести сидит у костра, варит ракушки, думает.

Его мать работает в госпитале. В просторном солнечном здании. Оно стоит на взгорье среди кипарисов, пальм и магнолий. И в его раскрытые окна все дни и ночи бьетесь прибой. Море в палатах госпиталя широко и необъятно. Сейчас оно убаюкивает раненых солдат и моряков. Кажется, на короткое время забыло обо всем другом. Нет у него других забот. На человеческом горе сосредоточилось.

Мать Анести, полная женщина, с лицом неприступным и суровым, все свои дежурства смотрит за ранеными. И нет у нее сна. В дни, свободные от дежурства, повязав голову белым платком, она стирает госпитальное белье.

Несет и несет домой тяжелые, сырые от крови свертки. Во дворе Анести, под инжиром, вечно дымился костер. Закопченная выварка всегда чернела сквозь забор.

Инжир, под которым горел огонь, засох вскоре после войны. Слишком близко был от инжира огонь.

Мать Анести — гордая женщина. Когда ее муж еще не был на фронте, хотя уже шла война, и приносил из пекарни тесто, она не брала его:

— Мои дети не осквернят себя нечестным хлебом!

И они ходили по берегу вместе с другими детьми, собирая хамсу. И соседи помогали ей, матери Анести. Оставляли у дверей ее дома картошку — ту, что принесли с гор. Пока мать Анести была в госпитале, картошку успевала осыпать кипарисовая полужелтая хвоя. Иногда картошку закрывал падающий лист.

...За спиной Анести ночное море. Вперед горы. Там сейчас отец.

Мальчик длинной проволокой ковыряется в ведре, где варятся ракушки.

К небу идет сизый дым. «Это синий зимний дым мглы над именем моим».

Эти стихи прочтет он уже потом.

...Идет война. Анести сидит с ракушками на обочине тротуара. Ждет покупателей.

Война заставляет продавать самое любимое, чтобы не умереть с голоду. Заставляет продавать огромную раковину.

Нет, он другие продаст — эту оставит.

Было на Записибе...

Начало на 22-й стр.

Я стал говорить что-то беспомощное: не надо, мол, понимать все буквально, не документ ведь, не хроника, ну, может, сходятся некоторые детали или похожи какие-то черточки, потому, мол, так оно туманно и говорится: прообраз.

— Так-то оно, конечно, так...

Не то чтобы почесал затылок, а как-то взерошил на макушке жиденькие волосы, и вид у него стал не только смущенный, но даже будто беззащитный—никогда я не видел его таким беззащитным.

И правда, захотелось подойти к нему, руку положить на плечо, обнять дружески: милый Иван Григорьевич, вы уж, бога ради, простите, если что и в самом деле не так, да только все это из самых добрых, как говорится, побуждений, просто хотелось отдать должное. Сказать и об уважении к нему и о чем-то более сердечном...

Да только так оно все устроено: никогда этих слов мы друг другу не говорим. Может, зря?

— Пойми меня правильно,—медленно, словно в который раз продумывая каждое слово, стал говорить Белый.—Я не о себе. Это ладно. Допустим, что ни книжка не имеет ко мне непосредственного отношения, ни я к ней. А просто среди твоих героев есть секретарь парткома, и мне, как профессиональному партийному работнику, видно, где он, как говорится, не тает... Давая так: сколько по Сибири по нашей больших строек? Не на каждой, предположим, сильный секретарь, но, думается, на большинстве-то люди думающие и крепкие. И чем они, по-твоему, прежде всего сильны? Я тебе Америки не открою: связью с массами. Тем, что они живут в самой гуще. Что народ знают. Понимают нужды... А ты какого-то одиночку нарисовал—обидно, слушай, за своих коллег!

Значит, не получилось... Потому что знать-то я хорошо это знал: как он день-деньской варится в людской массе. Этим—не постесняюсь высокого слова—и велика его должность, что живет у всех на виду, что к нему первому идут со всеми своими заботами, и он тут и первый советчик, и ответчик за все тоже первый, именно ему, а не кому-то другому приходится и разбираться с обидами на мелочность нормировщика и объяснять парадоксы большой политики... А народ на стройке зубастый, общими словами ни там, ни тут не отделаешься, тут их никто тебе не станет, общих слов, слушать. И правда, трудная должность, и, чтобы соответствовать ей, приходится почаще оглядываться на свою жизнь: а так ли все? А справедливо?

Он все подбирал слова:

— Это одна сторона. Другая... Как бы тебе сказать? Секретарь парткома, слушай, находится как бы у самого острого партийных решений. Их ему первому выполнять. И в этом смысле еще надо разбираться, кто тут кому помогает: обком, предположим, ему, или он—обкому? Что ж это, выходит, мы тут сами по себе Записи строили? Или вся область помогала нам его строить? Вся страна? А у тебя секретарь парткома, хоть больше всех вроде хлопочет, оказывается, понимаешь, позабыт-позаброшен, как в той песне... Да как так? Есть такое понятие: партийное товарищество. И тут даже в личном плане ощущаешь поддержку. Знаешь, когда я в больнице лежал,—замолчал вдруг и только махнул рукой.—Об этом ладно... к делу не относится.

Но я, пожалуй, догадался, о чем он решил не говорить. Об этом мне уже рассказывали в обкоме партии: когда у Белого было худо со здоровьем, покойный Афанасий Федорович Ештокин, человек суровый, но справедливый, партийный руководитель, сделавший для Кузбасса неосцимно много, каждый свой день начинал с того, что требовал отчета из Новокузнецкого горкома партии: как там нынче у Белого дела? Что делается, чтобы человека спасти? Нужна ли помощь областного комитета?..

— А домна?—продолжал Белый.—Предпусковой период, а твой секретарь парткома занимается тем, что сидит дома, доклад пишет... Это как? А ну, погоди-ка, я сейчас тебе одну книжку принесу.—О полотенце, висевшее над раковиной, тщательно вытер руки, покосился на кипевший воясо свой суп и быстро пошел в ту комнату, где стояли у него полки с книгами—от пола до потолка, от стены до стены. Вернулся с небольшим томиком в розовой обложке. Открыл на оглавлении, повел пальцем.—Генри Лоусон, австралийский писатель... Не читал? Читал, говоришь? А то хотел посоветовать. Так он что в одном рассказе? Вот: «Неужная деталь, будут ныть мои критики, перегружено неинтересными подробностями, но все это потому, что сами они подробностей никогда не знают, а в них-то и весь смысл»... Ну, что? Не согласен? А я думаю, правильно. Вольному воля, как говорится, о чем хочешь, о том и пиши, но уж если затронул такую тему: секретарь парткома... Может, зря ты не посоветовался? Я бы показал тебе протоколы заседаний партийного штаба на первой домне—смотри, пожалуйста! Это только одно. А сколько всего еще не вошло, как говорится, потому что писаниной тогда особенно-то некогда было заниматься... Слышу, как рапорт на комплексе, так обязательно жалобы: энергии не хватает. Причем жалуются, как правило, одни и те

же люди—кто сроки срывает. А у меня уж что-то такое выработалось на этот счет: дай, думаю, проверю. Взял с собой председателя стройкома Клещевникова, и все трансформаторные подстанции с ним обошли. На следующем рапорте стали жаловаться, а мы тут: можно справочку?

— А протоколы, значит, до сих пор?

— Храню, слушаю...

Я подумал: зачем бы? Ведь не бумажная душа, как раз нет. Но знаю, что еще с давних времен лежат у него дневниковые записи той поры, когда работал секретарем райкома партии в Горной Шории. Со времени пуска первой домны тоже прошло уже, считай, немало—больше десятка лет, а вот бережет! Может, думает сам когда-либо написать... Только найдет ли время? Он ведь собирается еще на новую стройку. Есть у нас с ним такой наполовину шуточный, а наполовину вполне серьезный договор: если начнут большую плотину на Томи, в районе Бьчьего Горла, и он пойдет на строительство секретарем парткома, то я, где бы ни был, бросаю все дела и приезжаю туда многотиражурно редактировать...

Разговор о памятных днях на первой домне, видно, что-то шевельнул в душе, у него и морщин стало меньше, и глаза заблестели, и голос опять сделался такой дружеский:

— Не берусь, конечно, судить, как оно там, у тех, кто книжки пишет, это происходит... Но сам по себе разве это не интересный факт: бригада, скажем, Черникова?..

И я заулыбался тоже, закивал, соглашаясь.

Женя Черников—из «стариков», один из ветеранов-монтажников. Играл в духовом оркестре, который был свидетелем самых первых торжеств на Антоновской площадке: под марш этого оркестра переходили из холодных брезентовых палаток в новое, двухэтажное общежитие первые счастливицы, под них же потом прибыл на стройку первый паровоз, под медные звуки прыгивали на землю бравые хлопцы, когда на стройку прибыл целый эшелон с демобилизованными солдатами, сразу восемьсот человек.

Вместе с Черниковым в оркестре играл Саша Артамонов, прекрасный парень из первой партии москвичей, играли другие хорошие ребята. Все они были монтажники, хорошо работали и еще успевали учиться в техникуме, и все же бригадиры ворчали, когда по случаю какого торжества из бригады забирали вдруг двух или трех человек. Тогда и решили ребята объединиться, чтобы самим за все отвечать: и за чистоту ноты и за качество шва. Играть, мол, так играть, работать так работать. И надо сказать, что дела у них шли на славу, бригада «духачей» считалась одной из лучших у монтажников, а в те горячие дни на первой домне бригадир с комсоргом вместе пришли в партком, принесли пачку заявлений: в полном составе бригада вступала в партию.

— Обязательно, слушай, надо придумать? А что, если бы ты взял, предположим, и написал бы такую книжку: «Комсорги»?

Бывает, пока не родилось у тебя окончательное название какой-нибудь вещи, в замысле озаглавишь ее условно, как бы закодируешь... Самое интересное, что именно так я и обозначил для себя одну из будущих своих документальных книг об Антоновской площадке.

Пусть простит меня тот самый бывший записовец, а теперь костромич, написавший письмо,—речь в такой книжке, если суждено ей будет появиться на свет, пойдет о биографиях известных, о тех, которые мальчишки и девчонки Антоновской площадки, дети наших ровесников, пересказывают нынче на своих пионерских сборах.

Николай Шевченко, Николай Тertyшников, Петр Михасенок, Станислав Поздеев, Сергей Шклянко...

Должен, если на то пошло, признаться, что я тоже принадлежу к людям, которые с подозрением относятся к чересчур громкой славе, но в данном случае, как говорится, ничего не попишешь, эти ребята ее заслужили, а вернее будет сказать: тем самым трудовым своим горбом заработали.

Шевченко до последнего времени был начальником крупнейшего на стройке Западно-Сибирского монтажного управления треста «Сибметаллургомонтаж». Тertyшников—начальник смежного управления в том же тресте. Михасенок—директор объединения ремонтно-механических заводов управления «Сибметаллургстрой». Поздеев—начальник цеха водоснабжения Записибе. Шклянко—заместитель главного инженера управления «Тэцстрой».

Но разве недавно еще Шевченко и Тertyшников не крутили гайки в одной и той же монтажной бригаде? Разве не слесарил Михасенок? Не стоял за токарным станком Поздеев? Не клал кирпичи Шклянко?

А за уши их никто не тянул, и родной дядя, если у кого он имелся, решительно никакого влияния на судьбу племянника не мог оказать по той простой причине, что находился где-либо очень далеко и был или ездовым в кубанском колхозе, или рыбаком в поморской артели.

Эти ребята на стройку приехали после армии—почти все в том самом гвардейском эшелоне. У каждого за плечами была только десятилетка, но тут они не только работали, но и упорно учились. Все они старые мои товарищи, и я хорошо знаю, как им все доставалось и чего стоило, потому что, живя рядом, невольно задумывался иногда: а я смог бы?

То, что сегодня я скучаю по ним, что приезжаю к ним на Записибу душу отвести,—это одно, а другое, что судьбы их для меня, литератора, стали действительно чем-то очень важным, потому что нахожу в них выражение и яркого народного характера и крепкой рабочей закваски, так же, как нахожу подтверждение некоторым социальным истинам, без веры в которые жить бы стало много трудней.

В биографиях у всех этих парней есть одна общая строка: все они были комсоргами.

Времена тогда переживал Записибу трудные, и вечером собирались, чтобы договориться, как и что написать в высокие инстанции. Белому, конечно, ни слова, чтооы ему, чего доброго, не досталось... Ходили с лицами, озабоченными высокой думой о судьбах того самого «первенца третьей металлургической базы на востоке страны», и неожиданными казались тогда простоватые вопросы секретаря парткома:

— А ты, комсорг, слушай, давно пел? Нет, не тогда, когда квартиру получил, не на новоселье, это ясно, а так, с ребятами?

Только потом уже многие из нас стали понимать и цену его терпеливому спокойствию и многим другим вещам, только потом вдруг заметили, что все то время, когда работали рядом, он и настаивал, и опекал тех, кто был на полтора десятка лет моложе, и помогал советом, таким ненавязчивым, что часто он казался собственным твоим решением. И помогал он всем этим ребятам потом, когда они ушли из комсомола, незримо над ними шефствовал и часто, если кто-то вдруг пропадал из виду, такого разыскивал, чтобы и поговорить и, может быть, поддержать...

Тогда, на кухне, когда он, уже весело цуряся, называл имена моих друзей, когда напоминал какие-то детали из их судеб, когда мне, хорошо это знавшему, принимался вдруг горячо доказывать, чего эти «наши хлопцы» стоят, я впервые подумал, что тут, на Записибе, среди бесконечной работы, среди всеобщих забот и суесть происходит очень непростая штука: люди, не связанные узами родства, перенимают друг у друга что-то важное, кровно продолжают, если хотите, друг друга...

Думал ли когда-нибудь об этом он сам? Знает ли?

Мне очень захотелось рассказать ему, как прошлым летом я неожиданно встретил в Москве Женю Подчасова, бывшего комсорга каменщиков, который теперь работает в Белгороде. Вместе мы позвонили Карижскому, решили, надо собраться, и вечером на квартиру к нему стали сходить наши «старички».

Пришел бывший главный механик ЖЖК Юрий Лейбензон с женой, тоже нашей, с Антоновки, пришел Витя Клинов, бывший бетонщик, бывший бригадир комсорг—ребята, которые работали с ним рядом, звали его Комиссаром.

Потом сидели мы за столом, Лейбензон настроил гитару, и мы спели ту песню, которая когда-то была нашей самой любимой: *А годы летят, наши лучшие годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад...*

Потом поднял руку Витя Клинов, попросил тишины, стал говорить. Складно стал говорить, ему по штату положено: работает нынче в Центральном комитете ВЛКСМ.

Сказал, что хочет отметить заслуги секретаря Москворецкого райкома партии города Москвы товарища Владислава Григорьевича Карижского перед комсомолом Антоновской площадки. Подчеркнул, что сам он очень многому у товарища Карижского научился...

Эх, братья! Где те прекрасные времена?!

Однажды Славка сказал, что в воскресенье надо сделать одну непильную работенку: для очередной партии приезжающих на стройку демобилизованных разнести по комнатам нового общежития и расставить полторы сотни железных кроватей. А хлопцы наши то ли не так что поняли, а то ли что перепугали.

Посидели мы со Славкой в комитете, полчаса подождали, и он сказал:

— Пошли, мальчишка!

— Куда?

Он удивился:

— Что за вопрос—будем носить кровати!

Вдвоем мы таскали их сначала на пятый: Славка правильно решил, что на нижние этажи будем носить потом, когда уже здорово устанем.

Он волок на плечах сетку, а я обе спинки. Собирая кровати помогала нам воспитатель будущего общежития Вера Ларина—третий участник нашего не отличавшегося массовостью воскресника...

Когда мы в первый раз присели отдохнуть, я предложил:

— Может, сбегаю за ребятами? Скажу одному, пусть мчит к другому, тот—к третьему...

Славка спросил значительно:

— Устал?

И я больше не заикался на этот счет: ну, что ж, пусть им станет потом действительно стыдно, пусть их совесть, когда узнают, замучает...

У меня и до сих пор, кажется, когда вспомню об этом нашем воскреснике, спина болит—учил, как же!

Витя Клинов теперь уже поднимал рюмку, а Славка, который по привычке, словно очнувшись вдруг, порывисто вскинул голову, негромко сказал без всякой видимой связи:

— За Ивана Григорьевича, ребята!

И все секунду-другую будто бы подумали.

И каждый потом, благодарно глядя на старого нашего комсорга, твердо сказал:

— За Ивана Григорьевича!

Об этом, пожалуй, я ему все-таки расскажу...

Продолжение следует.



ПУБЛИЦИСТИКА



Не частное дело

В социалистическом обществе, по мысли Карла Маркса, свободное время является главным богатством человека.

Книга В. Свининникова «Твое и наше богатство», выпущенная издательством «Молодая гвардия», как раз и ставит перед молодым читателем вопросы: правильно ли мы расходим свое бесценное богатство и что делать, чтобы не проходило время бездарно и пусто, чтобы каждая свободная минута была в радость, а не в скуку.

Как же это делать? По следам древней русской поговорки автор книги В. Свининников ведет читателя к основной своей мысли: «Век живи — век учись». И приводит в подтверждение любопытный парадоксальный факт: оказывается, «лица с образованием ниже среднего в 1,6 раза меньше занимаются самообразованием, чем люди, окончившие вуз».

Но это парадоксально только на первый взгляд. Самообразование несет в себе свойство, наполняющее наше существование целью и содержанием. Научно-техническая революция, распространившая свое влияние на все сферы бытия, стала достаточно сильным стимулом для постоянного учения. Но стимулом внешним: мы приобретаем все новые и новые знания не для одного только повышения квалификации. Постепенно человек вовлекается в круг духовной жизни, резко возрастают его гуманитарные запросы, невольно облагораживается характер: жадность до глубоких впечатлений рождает духовную щедрость.

Разумеется, не об одном только самообразовании идет речь в исследовании В. Свининникова. Нравственное совершенство немислимо без совершенства физического. Автор приводит

много интересных сведений с развитии физической культуры у нас в стране, о приобретении трудящихся к самостоятельному искусству.

Не только подобными примерами богат труд В. Свининникова: в нем много данных социологических исследований последнего времени, экономических выкладок, цифр. Ибо книга эта предназначена тем, в чьих руках в какой-то мере сосредоточены возможности организации свободного времени молодежи, и в первую очередь — комсомольским руководителям и активистам. Автор убедительно показывает, что решение проблем свободного времени не частное дело каждого, а задача государственной важности. В нравственном совершенстве гражданина заинтересовано все общество.

Книга В. Свининникова «Твое и наше богатство» призывает к пробуждению духовной жажды. И к ее утолению. В этом главная ценность работы ученого-социолога.

Михаил ХОЛМОГОРОВ

ПРОЗА



Легенда и быль

«Знай! Запомни! Светлую память о них храни!» — так звучит лейтмотив памяти в книге рассказов Сергея Алексеева «Идет война народная», вышедшей в издательстве «Детская литература» в 1975 году. В рассказах о великой битве под Москвой, о победном сражении на берегах Волги, о штурме Берлина перед юными читателями не просто оживают страницы истории — героическая легенда обретает черты бытия. И наоборот, историческая быль проникается духом легенды. Автор убеждает своего юного читателя в том, что героями не рождаются, но можно ими стать, как стал им рядовой Унегин — «солдат как солдат, не лучше других, не хуже» (рассказ «Холм Жирковский»), связист Воронович, который был и «характером тих, даже робок... Где уж такому мечтать о подвиге», Михаил Паникаха — «Роста среднего. Силы средней. Матрос как матрос». Рассказывает книга и о безвестных героях: мальчишках (рассказ «Трое»), подорвавших в сарае фашистский отряд, и о дерзких артиллеристах, уничтоживших втроем сборный пункт фашистов у Клина («Знай наших!»).

И каждому рассказу сопутствует драматический рефрен: «Свобода нелегкой ценой достается». «Иозеф Клаус» — малень-

кий рассказ, своеобразная притча о мирном немце, который «на фронте не был. Он мирный житель. Не жег селений. Служил в тылу он. Ковал железо. Точил снаряды... И был убит в своем доме осколком своего же немецкого снаряда. Нелепый конец. А может быть, и закономерный, говорит в подтексте автор юному читателю. Нельзя оставаться в стороне, когда кругом пылает земля, когда гибнут тысячи тысяч людей, и думать, что «другие будут за все в ответе».

Рассказы Сергея Алексеева разнообразны по форме: здесь и живые наброски портретов прославленных военачальников — маршалов Жукова, Рокоссовского, генерала Панфилова — и собственно рассказы о днях, которые стали вехами в истории Великой Отечественной войны («19 ноября 1942»), и юмористические зарисовки, которые раздражают повествование о трагических событиях (рассказ «Буль-буль»), и притчи, и полусказки-полулегенды о прославленных героях войны.

Одним же из основных повествований стал рассказ «Центральное направление» — он, в сущности, не о войне, а о том, как рота советских солдат вспыхнула и засеяла поле, которое старшина назвал центральным направлением, ибо «не для смерти и боя родились люди. Жизнь и миром велик человек». И это символ всепобеждающей жизни, символ завоеванного кровью мира.

Марина МАЦКЕВИЧ



Преступник будет найден

Сергей Высоцкий — приверженец острых, напряженных сюжетов, которые позволяют резко обнажить суть затронутых нравственных проблем. Читателям, вероятно, запомнились насыщенные драматическими коллизиями повести С. Высоцкого «Спроси зарю», «Смерть транзитного пассажира», «Увольнение на сутки». В новой книге «Пропавшие среди живых» (издательство «Молодая гвардия», М., 1975) писатель верен себе. Детективная интрига, захватывающая с первых же страниц, служит способом вовлечь читателя в раздумья над серьезными моральными вопросами.

Обе повести, вошедшие в книгу, — о работе ленинградского уголовного розыска. Подполковник Корнилов ведет расследование. Сперва дело о загадочном убийстве на станции Мшинская. Это повесть «Выстрел в Орелье Гриве». Затем разоблачение шайки похитителей машин. Это «Пропавшие среди живых». Задача писателя гораздо шире простого показа то-

го, как органы милиции выявляют и обезвреживают правонарушителей. Тема преступления и наказания включает важнейшие социальные, психологические моменты. С. Высоцкого привлекает не только и не столько внешняя, эффектная сторона поиска, сколько исследование характеров и взаимоотношений героев.

Автор пытается обстоятельно разобраться, как и почему человек становится преступником. Эскурсы в историю жизни персонажей наполняют повествование достоверными деталями, помогающими ярче раскрыть образы, поединок с преступником преломляется гранью «человековедения». Для следователя этот незримый бой не только экзамен его дара криминалиста, его смелости, но и проверка на человечность. «Выяснить, что привело человека к трагедии, ведь это так важно», — думает Корнилов.

Профессия следователя — гуманная профессия, это борьба за нравственное и моральное здоровье нашей сегодняшней и завтрашней жизни. Вот почему так интересны и поучительны размышления Корнилова об ответственности человека за свои поступки, о необходимости воспитания в каждом твердых нравственных и гражданских убеждений. «Меня пугает, что некоторые люди больше боятся карающего меча закона, чем голоса собственной совести, собственного разума... С таким человечешкой я, может быть, годы бок о бок живу, и он меня в любое время предаст, совершит какую-нибудь подлость. Когда почувствует, что останется безнаказанным... С преступниками мы справимся... Но как распознать человечешку с ограниченной совестью?»

Свое отношение к подобным людям писатель выразил в названии второй повести — «Пропавшие среди живых». Она о том, как легко иной раз человек, лишенный четких нравственных устоев и ориентиров, может встать на путь преступления.

На состоявшемся в нынешнем году Всесоюзном творческом совещании, посвященном проблемам развития советской приключенческой и научно-фантастической литературы, отмечалось, что произведения детективного жанра способны не только увлечь читателя, но и многому научить, на многое открыть глаза, способны помочь правильно разобраться в чрезвычайно сложных жизненных ситуациях. Сказанное можно в полной мере отнести к произведениям Сергея Высоцкого.

Андрей ЯХОНТОВ

НАУКА

«Ариабата»

Эта книжка — о юном тезке великого математика древности, о первом индийском искусственном спутнике Земли, нареченном «Ариабатой».

Прочитав эту книгу журналиста Владимира Губарева («Ариабата», издательство «Политическая литература», 1975), вы узнаете, что индийский спутник построен и запущен на орбиту с помощью советских специалистов. В его громком имени отразились и совершенство современной технической мысли, и глубокая признательность индийцев за помощь дружественной страны, и значительность происшедшего события. Тем более значительного, что сверши-



лось оно в преодолении массы проблем. И не только технических. Разумеется, В. Губарев, бывший свидетелем десятков космических стартов у нас в стране и за рубежом, мог бы со знанием дела, подробно рассказать об электронном обеспечении спутника, о том, как рассчитывалась его орбита, подбирались ракета, осуществлялась радиосвязь с Центрами управления... Собственно, все это есть в книге, но «техническая» тема проходит как бы вторым планом, фоном к разговору о проблемах социальных, характерных именно для Индии.

«Нынешний век в Индии живет рядом с минувшим, величайший взлет поэзии соседствует с неграмотностью, «лучезарные города» — так зовут в стране новые города — еще сильнее подчеркивают бедноту трущоб, а прекраснейшие храмы несут редакционную идеологию каст», — пишет В. Губарев. — Нелегко понять, оценить и увидеть, что страна решительно и смело шагает в будущее».

Нелегко. Добавим — еще сложнее рассказать обо всем этом на страницах небольшой книжки и рассказать так, чтобы читатель проникся тем же оптимизмом, что приходит к очевидцам жизни современной Индии. В. Губареву в значительной степени это удается. Он пересказывает историю «Ариабаты» так, что мы понимаем: народ, который, несмотря на остающиеся пока проблемы голода и безработицы, высокой детской смертности и неграмотности, сумел осуществить столь сложную техническую программу, способен на многое, очень многое. Вспомним: когда-то те же проблемы стояли перед страной, пришедшей сегодня на помощь Индии в космических и земных ее заботах...

Фраза из интервью академика А. Благодирова, приводимого в книге: «...удивляюсь, до чего же быстро мы привыкаем к необычному... Как стремительно развивается наука, особенно космонавтика, и как жаль, что мы стареем так быстро...» «Ариабата» по-особому дорог советским специалистам: участвуя в его создании, многие из них как бы пережили вторую космическую молодость. Снова была мечта, и первый старт, и первые сигналы из космоса. Все было вновь. В. Губареву удалось передать читателю это ощущение новизны, волнения и радости.

Ефим ДЕДУШКИН



Фамильная реликвия

Анатолий ЖАРЕНОВ

ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Помнится, эта фамилия уже фигурировала...

На листке, вырванном из блокнота, три фамилии. Лаврухин, конечно, имеет в виду первую. Кроме фамилий, там есть даты. Они пока Лаврухина не занимают, но всему свое время. В целом же листок представляет из себя краткую справку-записку, которую сочинил я. «Домовладельцы: с 1897 по 1940-й Каронины, с 1940 по 1954-й—Зайцевы, с 1964 по 1975-й—Лютиковы».

Эти сведения я получил в бюро инвентаризации жилого фонда. И пошел я туда потому, что нас серьезно заинтересовали показания женщины из соседнего подъезда, а именно та их часть, где говорилось о «хозяйских домиках», разглядывая которые Астахов сильно веселился. К этому добавилось еще кое-что. И весьма существенное. Наумов вспомнил, что в бакуевской папочке лежал план Заозерска, старинный план. С ним сверял свои маршруты по городу одержимый кладоискатель. И была помечена на том плане красной карандашной чертой Дворянская улица. Что нашел на ней Бакуев—этого нам никогда не узнать.

А вот мужичок-философ, сосед Лютиковых, в одну из наших встреч, ведя путанный разговор о соседях, промолвил вдруг:—Да тут у нас на Дворянской всякого люда найдешь...

— На Дворянской?
— Ну... Это сейчас она имени 8 Марта. А до революции тут дворяне проживали, понимаешь?

Я ничего не понимал. Решительно ничего.
— Погоди, друг, путаешь ты что-то. Дворянская в центре была.

— Ну,—буркнул он.—И эту Дворянской звали. Нищие дворяне жили, понимаешь?

Нет, я ничего еще не понимал. Но я уже чувствовал себя рыболовом, который долго-долго сидел над омутом в ожидании клева, истомился, отчаялся, как вдруг увидел: шевельнулся поплавок. И сразу улетучилась вялость, подобрался рыболов, ничего не осталось для него в мире, кроме поплавка, косо уходящего в воду.

Да, поплавок пошел в глубину. И хоть не знал я, что там, внизу, но уже уверен был: не коряга, на которую течением нанесло крючок.

Нищие дворяне... Обнищавшие дворяне жили некогда тут, на улице 8 Марта, отторгнутые от «общества», выброшенные за борт. В насмешку, видно, народ прозвал эту улицу Дворянской. Официально же именовалась она Песчаной слободой. Так и писалось везде: Песчаная слобода.

Вот такую сказочку рассказал мне мужичок-философ, сосед Лютиковых. А я думал о Бакуеве, о его плане с подчеркнутой красной чертой Дворянской улицей. Ошибся, видно, Бакуев. Не на той Дворянской искал. А вот Астахов угадал. Нет, не угадал, а добрался какими-то темными путями. Но какими?

Три фамилии. Между первой и третьей пространственная связь: Каронины и Лютиковы жили в разное время в одном доме.

— Что мы знаем о Карониной?—спросил Лаврухин, выбрасывая из шкафа на стол нужную папку.—Так... Каронина Мария Дмитриевна. Родилась в 1883 году, умерла в 1975 году. Жила в Заозерске. Портниха. С 1934 по 1954 год работала костюмершей в театре. Все?

— Во время войны театр не функционировал,—уточнил я.—Был перерыв в стаже.

— Силен,—буркнул Лаврухин.—Можно бы и побольше знать.

— Побольше мы узнали сегодня,—заметил я.

— Да-а,—протянул Лаврухин.—Знал бы, где упасть...

— Пытался,—сказал я.—Месяц назад беседовал с племянницей, кое с кем из театра. Говорили, что старушка давно головой страдала.

— Кто говорил?

— Племянница. Суровая женщина. Доверяет только богу.

— А в театре что?

— Двадцать лет, как она оттуда ушла. И думать о ней забыли.

— Казаковы ее должны помнить,—задумчиво произнес Лаврухин.—Вот ведь чудасия, Зыкин. Вроде есть какие-то связи, а вроде и нет.

— А вдруг она та самая К.?

— И что же?

— Она умерла за три дня до пятницы. А в пятницу ее хоронили. А Астахов какую-то старушку поминал. Альбом тоже вот...

— Ты это про что?

— Про дом... Старый дом, мало ли...

— В доме, дорогой мой, эксперты трудились. Мы там облазили все—от погребов до чердака и сараев. Семьдесят семь лет домику-то. Ремонтировали его не однажды, наверное. Если и есть тайник, так сделан он капитально. Понимаешь?

Я понимал. Если бы альбом был извлечен из тайника, находящегося в доме, из тайника, капитально оборудованного, то должны были остаться следы вскрытия. И они-то уж не прошли бы мимо внимания экспертов. Не было, по-видимому, тайника в доме Лютиковых. ...Так есть связи или нет их? И что за характер у этих связей? Что за надобность прятать альбом в тайник? Странно все это, очень странно. Потому что прятали все-таки этот альбом.

Прятали. И людей убивали.

Иконостас у племянницы Карониной шикарный. Я еще прошлый раз его заметил. И антикварную скатерть на круглом столе и лампу десятилинейную с розовым тюльпаном-абажуром, не лампу, а прямо радость неизбывную для какого-нибудь нынешнего собирателя старины, украшающего свой быт такими вот штучками, любящего поиграть на контрастах и поболтать о том, что в небытие уходит исконное...

— Нефедова Анна Филипповна?

Острый, цепкий взгляд из-под густых бровей. Лицо, как топор, узкое, только что не из стали. Суровая женщина. На вид лет пятьдесят пять, по паспорту на два года больше. Руки лежат на столе, спокойные, уверенные руки с набухшими венами.

— Да, я.

— Каронина Мария Дмитриевна приходилась вам...

— Теткой.

— По какой линии?

— По материнской. Матери моей сестра старшая.

— Каронина—девичья фамилия?

— Девичья.

— А по мужу?

— Не было мужа. Полюбовников не знаю.

— Были любовники?

— У кого их нет? Что раньше, что теперь. А что надо-то?

Если бы я знал, что мне надо... Но что-то ведь надо, Зыкин?

— Почему она продала свой дом в сороковом году?

— Эка что вспомнили. Я тогда только замуж вышла, а ей, поди, за полвека перевалило... Какая такая причина была? Умом она поврежденная.

— А к вам она когда переехала?

— Да после войны. Мой с фронта не пришел. Я и сказала: чем по людям шататься, переходи ко мне. От бога чтобы не было стыдно. Она и перешла. Картинки навесила, призы свои понаставила.

— Какие картинки?—спросил я, потому что про призы мне было уже известно. Призы Каронина завоевывала на балах во времена оны.

— Карточки... Брат у нее двоюродный был, погиб где-то в Азии. Любила она его. Потом девка не девка, барышня скорее... Из благородных. Эта в красках была. Сама-то тетка Маша тоже из благородных. Так, может, подруга какая...

— Сохранились карточки?

— Где там... Говорю, поврежденная была. Взяла и спалила все.

— Когда?

— Давно. Годов двадцать, поди. Я ведь до нее не касалась.

Ход у нее свой был. Перед смертью все письмо писала, это знаю. Видно, было на душе что-то. А может, от повреждения ума... Дочка у нее была прилудная. Снарядом убило. В театре работала.

— Сколько лет было дочке?

— Году в пятом, что ли, родилась...

— А фамилия?

— Ее и была фамилия. Тетки Машина. Каронина, значит.

Та-ак. И вроде не так уж и сурова эта суровая женщина. И на вопросы отвечает точно, хоть и не любит распространенные предложения.

— Почему она сожгла фотографии? Боялась кого-нибудь?



Рисунок
Геннадия НОВОЖИЛОВА

— Кого бояться-то? После войны звон сколько лет она у меня жила. И все сама с собой, оттого и повредила. Пока шить могла, бабы захакивали. Той—то, этой—это. Потом уж никто не бывал.

— Письмо она отправила?

— Я и в ящик опускала. В апреле было, помню. Постучала она в стенку, снеси, говорит, Анна. Ноги у нее не действовали. Ну, я и бросила.

— Кому письмо, не помните?

— А никому. В музей...

Говорят, есть искусство задавать вопросы. Спорить не буду, но разговор с племянницей Карониной показал мне и еще кое-что. Должно пройти время, необходимое для того, чтобы созрела база для вопросов.

В фойе театра было тихо, пустынно и сумрачно. Я остановился в раздумье. Мне нужна была Валя Цыбина, но ее кабинетик на втором этаже был заперт. Руководство тоже отсутствовало.

Мы с женой редко ходим в театр. Последний раз были здесь зимой. С тех пор я заходил в театр лишь по служебным делам и в фойе не заглядывал—все разговоры велись в кабинетах на втором этаже. Сегодня мне пришлось спуститься в фойе.

Еще входя сюда, я подумал, что тут произошли какие-то перемены.

Когда глаза привыкли к полумраку, я понял, какие именно: помещение готовили к ремонту, и со стен были сняты портреты актеров.

И лишь потом пришло воспоминание. Я вспомнил то, что тревожило меня уже давно, что не давалось, пряталось в подсознании, а теперь вдруг выплеснулось.

Конечно, я добрался бы до портрета этой актрисы и без воспоминаний. Но с ними было как-то приятнее. Все-таки сам, все-таки догадался, хоть на двадцать минут, но опередил события. Примерно так выразился я тогда, когда пришла Валя Цыбина. Искомый портрет уже был извлечен на свет, и я смотрел на ту, которая когда-то здесь играла Дездемону, на ту, которую так не любила Тамара Михайловна, на ту, которая была так похожа на княгиню Улусову. Я видел ее на афишах в доме Казаковых, на афишах и на фотографиях. Но на тех фото она была в гриме и в костюмах прошлых эпох. Там я ее не узнал. На этом портрете она была сама собой...

На втором году замужества с князем Улусовым, когда ей не исполнилось еще и двадцати лет, княгиня встретила с



заозерским дворянином Алексеем Аркадьевичем Васильевым. С этого момента и пошел отсчет. Впрочем, нет. Все началось несколько раньше: в тот день, вероятно, когда Алексею Аркадьеву сыну пришлось в голову заняться установлением личности творца фресок, которыми любуются ныне посетители нашего краеведческого музея.

Подробности погребены во времени. Но мы с Наумовым уверены, что все произошло именно так. Мы с двух сторон шли к истине, мы подняли те документы, которые возможно было поднять, а там, где это было невозможно сделать, в ход пускалось воображение.

В общем-то это была тривиальная история, правда, подсвеченная романтикой поиска. Алексей Васильев был немного художником, немного чиновником и очень много — мечтателем. Чиновником он был по необходимости, а мечтателем — по натуре.

Папа Аркадий неделями пребывал в запое и в конце концов отдал богу душу. Отпевали его в той церкви, которая потом стала музеем. Может быть, тогда Алексей Васильев впервые обратил внимание на фрески.

В опустевшем доме было холодно и тоскливо.

Продан был дом... В 1898 году. Уехал Алеша Васильев, коллежский секретарь. В Петербург уехал. В Академию художеств поступать.

А там подрастала будущая княгиня Улусова. Пансион... Романы Жорж Санд... И папа, страстно желавший привести в порядок свои запутанные финансовые дела, мечтавший о выгодной партии для дочери.

Ох, уж эти мечтатели...

Нет, не стар был князь Улусов. Монокль носил, усы носил и кое-какие регалии. Иного рода регалии выделяли Алешу из толпы. И юная княгиня это заметила.

Были на Руси такие княгини, которые умели замечать кое-что. Графиня Ростопчина зашла как-то в церковь Московского университета (было это накануне похорон Н. В. Гоголя) и заметила студента юридического факультета, который рисовал покойного писателя. Портрет был литографирован. Так был признан художник Рачинский. А ведь это очень много значит — получить признание, пока ты молод.

Алеша Васильев был художником. В Заозерском музее сейчас выставлены семь его картин. Но в ту пору он еще не успел получить признания.

Их соединило искусство и разъединила любовь.

Когда родилась девочка, князь Улусов находился на Японской кампании при штабе генерала Куропаткина.

Почти год княгиня провела в имении своей московской подруги Натали. Она умчалась туда в великом испуге задолго до родов. Оттуда через год с небольшим девочку взял отец и отвез в Заозерск к своей двоюродной сестре — Карониной Марии Дмитриевне. Маша жила в доме только с сестрой, которой было лет десять. Родители умерли, оставив детей почти без средств к существованию, когда Маше только-

только стукнуло двадцать. Остался дом да мельхиоровые кубки — призы. Как тоскливое напоминание о балах, ярких свечах и галантных офицерах из местного гарнизона. Любимый двоюродный братец с дочкой оказался неожиданной находкой, ибо вместе с девочкой в дом вошли деньги. Княгиня была состоятельной грешницей.

Каронина удочерила ребенка. Молва нарекла ее кровной матерью.

И потекли годы...

И не попала бы никогда в милицейские протоколы эта житейская история начала века, если бы не встретились в семнадцатом году княгиня и ее возлюбленный «А. В.». Они встречались и раньше, но эта встреча была последней. Он приехал в Москву из Заозерска, она — из Петербурга. И в доме Натали княгиня сказала... Хотя как я могу знать, что именно она сказала? Я могу только предполагать, конструировать, восстанавливать. «Мир рушится, Алеша», — сказала, наверно, она. — Но все возродится. Я прошу, чтобы ты сохранил то, что я не хочу брать с собой. Оно должно остаться здесь. Там оно будет пущено в распыл».

Может быть, она произнесла другие слова. Но ЭТО она Алеше вручила.

ЭТО было коллекцией.

А портрет ее Алеша оставил у себя. Может, хотел дочери показать, кто знает...

Так что в Заозерск княгиня не приезжала. И Алеша больше не приезжал. Погиб в схватке с басмачами в Средней Азии. Оттуда в двадцатом с okazji брактетатик прислал.

«С любовью. А. В.».

На том и закончился первый период этой истории.

Второй начался в тридцать девятом...

Я присел на скамейку в скверике поблизости от музея. Надо было идти к Лаврухину, а я не торопился. Меня тревожило смутное ощущение чего-то недоделанного, недоговоренного. И я решил подождать конца рабочего дня, мне захотелось встретиться с Вероникой Семеновной вне музейных стен.

В своем рассказе о печальной княгине я забежал далеко вперед. В тот день, когда я сидел в скверике, ожидая Веронику Семеновну, мы еще многого не знали. Мы не знали о коллекции, мы еще думали, что произошла некая ошибка, что преступники погнались за миражем. Мы ломали головы, отыскивая связи между тем, что произошло с княгиней, и тем, что нам было известно о семье Казаковых. Казалось, что нет тут и не должно быть никаких связей, даже имманентных. То обстоятельство, что Тамара Михайловна когда-то давно испытывала, мягко выражаясь, далеко не дружеские чувства к Карониной-Надеждиной, еще не говорило ни о чем. Тамара Михайловна, кстати, и не скрывала этих своих чувств. Дочь княгини, ставшая актрисой, загородила, как считала Тамара Михайловна, ей путь на сцену. Ну и что? Но Тамара

Михайловна очень неодобрительно относилась к браку своей Лирочки с Наумовым. Лирочка удивилась, когда я высказал ей это предположение. Лирочка сказала: «Неужели я знала это всегда?» И у меня не осталось сомнений: да, она это знала. Я даже подумывал, что Тамара Михайловна самолично приложила немало усилий к тому, чтобы разбить этот брак во что бы то ни стало. Я не изумился бы особенно, узнав, что и анонимки — дело рук Тамары Михайловны. Старушка решила на отчаянный шаг. Но почему? Загадочки, думал я. И этот, в сущности, пустой разговор с Тамарой Михайловной по пути из молочной к дому. «Что вы хотите этим сказать?» «Хочу сказать, что ему надо выписать очки». Ну и что тут такого, в этих словах? А старушке стало дурно. «Что вы хотите этим сказать?» Да ничего решительно. Не успел я сказать то, что хотел. Но откуда взялась «эта бледность лица»?

Наумов мог, конечно, не нравиться ей. Однако причина лежала где-то глубже. Что-то копилось, чтобы потом катапультироваться, вылиться в скандал, который разметал в разные стороны супругов и отбросил дочь от семьи. Случилось это, когда Наумов стал приближаться к разгадке бакуевской записи о «К.». В то время Каронина еще была жива.

Каронина могла о чем-то проболтаться.

О чем же?

О чем-то таком, что непосредственно касалось Лирочки? «Смешно, Зыкин».

Каронина перед смертью отправила письмо в музей. Но ведь в музей... Просто в музей, а вовсе не Лирочке... Не настолько же она была «повреждена в уме», чтобы забыть имя той, кому писала.

С такими мыслями я пришел в музей. С ними и вышел. Не скажу, что мое появление обрадовало Сикорского. Мне показалось, что, увидев меня, он как бы подтянулся, собрался внутренне. Но, может быть, это только показалось...

Он протянул мне руку и, посмеиваясь, сказал:

— Зачастили вы к нам...

Мы стояли перед картиной, изображавшей сцену искушения. Змей, похожий на пожарный шланг, протягивал Еве яблочко. Бородатый бог бродил вдали. Ева опасно косилась на старика, но желание вкусить от неизведанного было сильнее страха. Рука тянулась к плоду, который змей держал в зубах.

— Не так уж, чтобы очень... — сказал я. — Инвентаризацию провели?

— Все в ажуре. Да иначе и быть не могло.

Он посмотрел на меня осуждающе, словно подозревал в том, что я думал иначе.

— Маленькое дельце, Максим Петрович, — сказал я. — Что вы делаете с письмами?

— С какими письмами?

— Которые получаете.

— Очень странный вопрос. Читаю, вероятно. А что вы делаете с письмами?

— Я говорю не о личных письмах.

— Не понимаю.

— Я хотел бы, — сказал я, — получить представление о порядке прохождения почты в музее. В каждом учреждении существует установленный порядок движения корреспонденции. Вот пришел почтальон... Теперь понимаете?

Он посмотрел на меня, как двоечник на доску, на которой написано уравнение с тремя неизвестными. Потом перевел взгляд на Еву.

— Вот пришел почтальон... — повторил он мою фразу. — Да, я вас слушаю.

Я рассердился. Образованный человек, а корчит из себя идиота.

— И что же происходит дальше?

— Да-да, конечно, — спохватился Сикорский, — простите, я немного отвлекся. Вам интересно знать, как проходит почта? У нас порядок простой: все складывается на стол к Веронике Семеновне.

— А потом?

— Потом она разносит письма.

— Кто их вскрывает?

— Она обычно. Кроме личных, конечно.

— Письма регистрируются?

— Безусловно.

Я пожелал взглянуть на книгу. Мне ее показали. Того письма, которое я хотел найти, в книге не числилось. Ни в марте, ни в апреле, ни в мае в музей не поступало письмо от Карониной. Я не поверил книге, в которой вообще трудно было разобраться, и попросил сами письма. Я сверил поступление с наличием. Расхождений не было. Я просмотрел письма... И хоть не представлял себе, о чем должно было говориться в ТОМ письме, я бы его все равно узнал, почувствовал, догадался... Того письма не было.

— Чудеса, — сказал я Сикорскому. — Прямо-таки потрясающие чудеса.

— А что вы ищете?

— Иду то, не знаю что, — буркнул я, глядя на Веронику Семеновну, и попросил ее просмотреть записи в книге. Все ли они сделаны ее рукой.

Она посмотрела.

— Да, — сказала она.

И никаких следов подчистки.

Ответов было два, нет, пожалуй, три. Впрочем, в третий верилось слабо: племянница Карониной, конечно же, говорила правду — письмо она отправляла. Эта женщина была не из тех, которые любят выдумывать. Да, ответов было два: или

письмо не дошло, или Вероника Семеновна его не зарегистрировала.

Но, может, существовал и четвертый ответ?

Она вышла последней. Постояла на высоком каменном крыльце, дожидаясь, пока сторож кончит возиться у дверей, потом сошла на дорожку и вышла на улицу. Я дал ей отойти метров на сто пятьдесят и двинулся вслед по другой стороне.

Вероника Семеновна всем цветам предпочитала зеленый. Она опять была в зеленом платье, правда, другого фасона. Я не представлял себе, как бы она выглядела, скажем, в желтом, но зеленый ей явно не шел. Ей надо бы носить что-нибудь пестренькое, оно бы контрастировало с выражением ее лица и компенсировало бы мухромость. Но таинственная женская психология, неисповедимы поступки.

Я знал, что она должна пройти мимо небольшого пруда, окруженного тополями, и выйти на тесную площадку, к автобусной остановке.

У пруда я окликнул ее. Вероника Семеновна оглянулась и остановилась. В глазах ее ясно читалось: «Ну что вы ко мне пристали?»

— Присядем на минутку,—указал я на скамейку.

С тополей летел пух, сбивался в комки, которые медленно перекатывались по земле. Посреди пруда, на островке, стоял гипсовый мальчик с веслом. Неподдалеку какой-то парнишка поджигал грязно-серые шары тополиного пуха. Они вспыхивали и исчезали. Я подозвал мальчишку, отобрал у него спички и зашвырнул в пруд.

— Как вы думаете, что он сейчас сделает?—спросил я Веронику Семеновну.

— Купит спички,—сказала она равнодушно.—Мальчишки упрямые.

— Взрослые тоже иногда ведут себя, как упрямые мальчишки,—сказал я.—Вам решительно нечего мне сообщить?

— Я хотела бы понять вас.

— Вы говорили нам как-то, что считаете Лиру Федоровну порядочной женщиной. Что это значит?

— Я думаю, что она не способна на подлость.

— Как она вела себя по отношению к вам?

— Нормально, по-моему.

— Вам известно, почему она порвала с мужем?

— Ходили разные слухи. Говорили, что он...

— Вас это никак не касалось?

— А почему это должно меня касаться?

— Вы знакомы с родителями Леры Федоровны?

— Мне уже задавали этот вопрос. Нет, не знакома. Федора Васильевича я видела на сцене театра. А Тамара Михайловна несколько раз заходила в музей, когда Лира работала у нас.

— Что ей надо было в музее? И когда она приходила в последний раз?

— Не знаю, что ей было надо. Они разговаривали во дворе. А когда? Кажется, в прошлом году, незадолго до того, как Лира разошлась с мужем.

— И с тех пор вы с Тамарой Михайловной не встречались?

— Может быть, на улице... Да... кажется...

— Вы разговаривали? Здоровались?

— Я никогда с ней не разговаривала. Просто раскланивались.

— Лира Федоровна получала какие-нибудь письма? Личные? Служебные?

— Нет, по-моему. Хотя... Но это было давно, вероятно, с год... Какое-то письмо я клала ей на стол.

— У вас отличная память, Вероника Семеновна.

— Обыкновенная. Мне показалось, что Лира расстроилась, прочитав письмо.

— Вас это не заинтересовало?

— Я не любопытна.

— Вас удивляют мои вопросы?

— Да.

— Что вы думаете о Наумове?

— Он всегда казался мне порядочным человеком. Я считала, что он любит Лиру.

— А сейчас?

— Не знаю. Я никого не хочу осуждать.

— Как вы отнеслись к тому, что Лира Федоровна сошлась с Астаховым? Я слышал, что были разные прогнозы на этот счет.

— Астахов был красивым мужчиной. И не робким. А прогнозов никто не строил. Максим Петрович понимает, что Лира...

Вероника Семеновна не договорила и покосилась на меня весьма неодобрительно. Конечно. Все они там порядочные люди...

А я вот хочу узнать, должен узнать, в какие такие тартарары письмо Карониной провалилось. Не верю, что не дошло оно до рук Вероники, женщины с отличной памятью, женщины, которая никого не желает осуждать и ни в чьи дела не вмешивается.

А может, воздержаться пока от вопросов? В апреле это было, Вероника Семеновна, в апреле... Вы за своим обшарпанным столом сидели, Лирочка напротив... И вот пришел почтальон...

Да, гнусная это была история, и финал у нее оказался не менее гнусным. Суток не прошло после памятной беседы у пруда—и все кончилось.

Но прежде чем это случилось, мы успели поднять целый пласт... Нет, не почва, а мусора, отбросов, всякой дряни.

И легла четкая межа, отделившая любовь от уголовщины. Впрочем, о любви тут говорить как-то вроде и неудобно.

Наумов довольно остроумно заметил, что «все произошло на гормональном уровне».

Возможно, он и прав.

Утром из командировки вернулся Петя Саватеев. И утром же в прокуратуру была вызвана Тамара Михайловна. Сухонькая старушка с седыми букольками села в кресло у стола Лаврухина. В глазах у нее была смертная тоска. Поняла старушка, что серьезного разговора не избежать, что всплывет грязная тайна, которую она желала бы унести в могилу, надеялась, что обойдется все, усилила к этому прилагала, ва-банк даже пошла—дочке развод с мужем устроила.

Как все-таки живуча ненависть... Да и страх тоже.

— Когда вы вышли замуж, Тамара Михайловна?

— В тридцать пятом году.

— Где жили?

Такой, кажется, простой вопрос, а додумались мы до него с великим трудом. Где жили? Да мало ли где могли жить люди... Не все ли равно? Сегодня человек живет на одном месте, завтра на другом, эка важность. В тридцать пятом году ведь дело было—сколько воды утекло.

— На частной квартире.

— Назовите хозяев.

Глубокое кресло у Лаврухина в кабинете, но не утонешь в нем, если даже и очень хочешь.

— У Карониной.

Пять лет прожили молодые супруги у «портних из благородных». Как приехали в Заозерск, как стали работать в театре, так их и приютила костюмерша. Денег немного брала, а дом большой, места хватало. Старуха одна жила, дочка ее приемная—Надежда Лена—к тому времени замуж вышла и к родителям мужа переехала. Томочка с Леночкой в театре встречались. Но дружбы не было: какая уж там дружба, когда Леночка в признанных Джульеттах и Дездемонах ходила, а Томочку главреж держал на ролях типа «кушать подано». Леночке аплодировали. А Томочке после каждого спектакля хотелось ей глаза выцарапать. Есть такая категория в людском многообразии—завистники. Не могут они равнодушно сносить чужие успехи, вечно считают себя несправедливо обойденными. Таким вот червячком и Томочка была.

Она жаждала аплодисментов. Бурных, восторженных.

И решила ухватить жар-птицу за хвост.

Стала к главрежу присматриваться.

Методику разрабатывала.

А какая уж тут методика? Все наперед известно. Главреж был русым молодцом с зычным голосом и грубыми повадками. Что могла сделать Тамара Михайловна? Только разве в своем амплу выступить—«кушать подано» произнести. Произнесла.

Главреж не отказался. Но поскольку он точно знал, где проходит граница между искусством и действительностью, то он их и не путал. Скорого повышения Томочке не предвиделось.

Этот скоротечный, обычный роман не укрылся от зорких глаз наблюдательной костюмерши. Томочка испугалась. Дойдет слух до мужа, что будет? Казаков—человек вспыльчивый, импульсивный, всего ожидать можно.

Началась для Томочки пора испытаний. Стала она старуху обхаживать, улеивать.

А сердце сжималось от ненависти.

Потом наступил час торжества...

Натали Гончаровская, бывшая наперсница княгини Улусовой, впервые побывала в Заозерске в тридцать восьмом году. Приехала по просьбе княгини, которая, похоронив мужа, продолжала жить в эмиграции. Она покидала родину, как писала той же Натали в семнадцатом году, с тяжелым чувством. Обстоятельства тогда оказались сильнее ее, и она им покорилась. Княгиню мучила ностальгия. И в тридцать восьмом она написала Натали, ставшей к тому времени Натальей Владимировной Гончаровской, корректором одного московского издательства. В письме были разные «что». Что с Алешей, что с дочерью, что с коллекцией? Натали навестила Каронины и все, что смогла, разузнала.

Томочка в том году еще только собиралась принести себя в жертву искусству.

Вторично Натали появилась в Заозерске в сентябре тридцать девятого. Томочка дочитывала последнюю страницу своего романа. Главреж не оправдал ее надежд. Томочке хотелось умереть. Но это желание уступало другому, более сильному: сначала, по мнению Томочки, должны были умереть те, кто причинил ей зло. Она желала скорой смерти Дездемоне—Надежде, главрежу, старухе Карониной...

В тот вечер, когда Натали Гончаровская вошла в дом, Томочка сидела у окошка. Сперва она не обратила внимания на высокую черноволосую женщину, потом ее заинтересовал разговор: стенка, отделявшая комнату Казаковых от хозяйской половины дома, была достаточно тонкой. Гостья сказала:

— Она хочет, чтобы ценности были переданы государству.

— Ничего не знаю,—сказала Каронина.—Не мое дело.

— Но послушайте,—возразила гостья,—кто вам дал право распорядиться чужим имуществом?

— Чтобы меня посадили?—визгливо закричала Каронина.—За Алешкины грехи в тюрьму приглашаешь? Ей там, видать, хорошо, за границей-то. Ишь раскомандовалась! Сама удрала, а теперь—имущество. Нет никакого имущества. Было да сплыло.

— В прошлом году вы говорили иначе.

— А кто слышал?

— Я слышала.

— Доносить пойдешь?

— Как вам не стыдно!—укоризненно произнесла гостья.—Все можно объяснить. Вот ее письмо. Наконец, я...

— Дай-ка мне письмо!—потребовала Каронина.

— Что вы делаете?—воскликнула гостья.

— И нету!—донеслось до Томочки, и она поняла, что Каронина бросила письмо в печку.—Нет у нее было. Доноси иди... Кто тебе поверит, что клад был?

— Вы...—гневно сказала женщина.—Вы подлая, трусливая тварь. Княгиня тяжело больна, она вот-вот умрет. Воля умирающей священна...

— А я живу и в тюрьме слезы лить не хочу.

— Я должна помирить с ее дочерью...

— Нету у нее дочери. Моя дочь. Она родила, а я страдала. Грех приняла, свою жизнь сломала.

— Вам деньги платили.

— Деньги,—протянула.—Она вильнула хвостом—и все деньги. В Алешкину память я все делала.

Они долго молчали. Затем Каронина сказала:

— Уходи. Соберусь помирить—все отдам. Мне чужого не надо. А до этого у нас с тобой разговора не будет. И дочку не тревожь. Она не знает ничего. Не калечь ей жизнь.

Женщина прошла мимо окна и растворилась в вечернем сентябрьском тумане. Томочка встала и открыла дверь в коридор. Улыбнулась и без стука вошла в комнату Карониной. Старуха сидела у печки.

— Тебе чего?—подняла она голову.

Томочка улыбнулась.

— Подслушивала?—спросила Мария Дмитриевна.

Томочка кивнула.

— Ну и молчи,—сказала старуха.—А то вот шепну муженьку словцо—и вся недолга. Поняла?

Томочка снова улыбнулась. Старуха пожевала губами и медленно произнесла:

— Надумала я дом продавать. Нам с тобой теперь под одной крышей душно будет. Подыскивай пока местечко. А ежели брякнешь что, пеняй на себя.

Казаковы съехали через два месяца, в ноябре. В феврале сорокового года Каронина продала дом. В марте родилась Лирочка-Велирочка.

Потом началась война. Погибла Натали Гончаровская—дежурила на чердаке, бомба разорвалась в двух шагах. Шальная пуля нашла Лену Надеждину в тот момент, когда актриса выступала перед бойцами в прифронтовом лесу под Смоленском. А Казаков вернулся к своей Томочке. Лирочке шел шестой год. Острый глаз мог бы уловить в чертах лица рыженой девочки сходство с русым молодцом-главрежем. Но нужен был острый глаз, а Казаков был близорук. Да и не подозревал он ничего. И все-таки Тамара Михайловна опасалась. Так и жила с опасениями, которые переросли в страх, когда в жизнь дочери вошел Наумов.

Каронина была жива. Тамара Михайловна боялась, что старуха, впадшая в маразм, может выболтать ее тайну. И решила этого не допускать.

— Я вас прошу,—сказала она Лаврухину.—Муж не должен ничего знать. Это его убьет.

— Поздно вы спохватились,—сказал Лаврухин жестко.—Вы все сказали?

— Все.

— Вы никому не сообщали о коллекции княгини?

— Никому.

— Вы хорошо помните слова Карониной: «Соберусь помирить—все отдам»? Ведь прошло столько лет.

— Я этого не забуду никогда.

— Почему ваша дочь ушла из дома?

— Она... Она сказала: «Я хотела бы тебе поверить, мама, но я вижу, что ты лжешь. Я уйду и не вернусь до тех пор, пока ты не скажешь, что скрываешь». Сказать этого я ей не могла.

— Она ни о чем не догадывалась? Ничего не могла сообщить Астахову?

— Нет, Каронина умерла, и я успокоилась. Лирочкина связь меня не интересовала. Я даже не знала об этом, пока... Пока к нам не пришли вы. Потом со мной стали говорить об анонимках. И я поняла, что вы что-то подозреваете. Но я все рассказала сейчас. Все. Обещайте мне...

— Нет уж, увольте,—сказал Лаврухин.—Мы обещаниями не привыкли разбрасываться.

А когда дверь за Тамарой Михайловной закрылась, он оглядел нас с Петей Саватеевым и протянул:

— Н-да, ребята. Это все, кажется, меняет дело. Поворот оверштаг придется выполнять, заблудился наш кораблик маленько.

Он преувеличивал. Кораблик наш плыл туда, куда надо. Просто дело было на редкость запутанным. Прошлое перепуталось с настоящим, любовь с уголовщиной, нелепое и смешное с тонкой, расчетливой игрой, в которой наш противник допустил всего несколько незначительных ошибок.

А кораблик следствия шел правильным курсом. Не так скоро, как нам хотелось бы. Но к цели. И поворот оверштаг вовремя был выполнен, еще за несколько дней до моего разговора с Вероникой Семеновной у пруда с гипсовым мальчиком. Все шло как надо. И наружное наблюдение было установлено, и доказательства собирались.

Преувеличивал Лаврухин.

Петя Саватеев тоже, наверно, так думал. Петя привез из командировки ворох самых разных сведений. И был горд. И сдержан. Не совался под руку с умозаклочениями и вообще был мало похож на того Петю, который чуть больше месяца назад ел мармелад, сидя возле моей кровати, и рассуждал об

«очевидных вещах». Я считаю, что его распирало сознание своей полезности. Сбытию говоря, Тамара Михайловна вела бы себя менее откровенно, если бы перед Лаврухиным не лежал блокнот Пети Саватеева. Он сделал, в сущности, то же самое, что когда-то проделал Бакуев: описал окружность, в центре которой стояло имя Натали. Но Бакуев был незадачливым искателем и, кроме того, крайне нетерпеливым человеком. Из верных посылок, как правильно заметил Наумов, Бакуев делал неверные выводы. Пете было и труднее и легче. Труднее потому, что время поглотило многих из тех, с кем Бакуев мог поговорить непосредственно. Легче потому, что Петья видел перед собой четко очерченную цель. С Бакуевым, впрочем, нам было не все ясно. Несомненно одно: он знал о коллекции, но из каких источников, оставалось тайной. Скорее всего, он был знаком с кем-то из окружения Натали. Женщина не делала особого секрета из того, что ей было известно. Она только не называла имена. Старики и старухи, с которыми встречался Петья, помнили кое-что из ее рассказов о княгине и о коллекции, о любви коллежского секретаря, помнили они и о поездках Натали в Заозерск. Видимо, эти легенды дошли до Бакуева году в сороковом или сорок первом. И надо было быть Бакуевым, чтобы взяться за почти безнадежное дело. Встретиться до войны с Натали ему не удалось. А когда он, вернувшись с фронта, ринулся к ней, Натали уже не было в живых. Ему отдала письма княгиня — детям Натали они не были нужны. Обрывки легенд, которые он услышал, позволили ему заключить, что в Заозерске живут какие-то родственники княгини. И он бросился искать этих родственников. Он искал их на бывшей Дворянской — где же еще? Он ухляпал на их поиск чуть не десять лет. Не найдя никого и ничего, Бакуев снова отправился в Москву и, вероятно, на этот раз сумел-таки кое-что разведать, потому что заинтересовался дочерью княгини. К пятидесяти седьмому году он нашел Каронину. Он пришел к ней не со стороны «А. В.», о котором не знал, а со стороны его дочери. Он «сход, к К.». Старуха была поставлена перед фактом и не стала почти ничего отрицать. Да, была у княгини дочь, да, воспитывала ее она, Мария Дмитриевна. Портрет? Да, это портрет ее, княгини. Бакуев хочет взять его? Пожалуйста. Но никакой коллекции нет, старуха об этом ничего не знает. Мало ли что люди могут болтать? И Бакуев ушел. Смерть помешала ему закончить поиск.

Но каким все-таки упорством обладал человек!

И вот финал. Мы не ожидали, что развязка наступит так быстро. Словно лопнула вдруг струна, которую долго натягивали.

С дефектом была струна. Со скрытым дефектом. Вот и не выдержала напряжения.

Тамара Михайловна ушла в половине одиннадцатого. В одиннадцать задребезжал телефонный звонок. Лаврухин взял трубку.

Мы с Петей собрались выйти покурить в коридор, но Лаврухин резко взмахнул рукой, и мы остановились у двери.

— Что? — каким-то звенящим голосом спросил он. — Не выходил из дома? Это точно?

Лаврухин положил трубку.

— Быстро в машину. Петья, звони Бурмистрову. Кажется, дело дрянь. — В машине он спросил у меня: — Ты не говорил лишнего?

Я обиделся.

— За кого вы меня принимаете?

— Какого же черта тогда? — буркнул он сердито.

И замолчал.

Мы миновали Театральную площадь, проехали мимо привлекательных окон ресторана «Центральный» и минуты через три остановились возле цветочного магазина. Наискосок, через улицу, виднелся серый четырехэтажный дом с красными балкончиками.

И тут же подошла вторая машина. Трое остались в ней. Бурмистров выбрался на тротуар и подошел к нам.

— Ты не паникуешь, Павел Иванович? — осведомился он хмуро.

Лаврухин пожал плечами.

— Пошлем дворника, — сказал он. — Нам туда соваться нельзя.

Дворник вернулся минут через пятнадцать. Выражение его лица явственно свидетельствовало, что соваться нам туда было можно.

Да, струна лопнула. Он покочил с собой, когда понял, что выхода нет, что бегство ему не поможет, что бегство будет только отсрочкой возмездия, не больше. Вряд ли он догадывался о том, что за ним установлено наблюдение, установлено еще в тот день, когда мы узнали о письме Карониной, адресованном в музей. Он кое-что сообразил, когда я заинтересовался порядком прохождения почты в музее. Он знал, что у нас нет никаких улик против него, но он знал и то, что мы можем их найти. Он понял это после разговора со мной.

И он оставил письмо. Он написал его мне.

«Я жалею о том, — писал Сикорский, — что не убил вас, Зыкин. Я не успел вас убить: сначала в меня вцепился струсивший хлюпик, потом помешала его новая пассия. У меня не оставалось времени — еще несколько минут, и мое алиби лопнуло бы. Для всех я был на совещании. Там мне должны были вручить почетную грамоту, я был обязан явиться к моменту вручения. Мне ее вручили. В вашей записной книжке, наверное, отмечен этот знаменательный факт — вы ведь проверяли алиби всех сотрудников музея. Я жалею, что не убил вас, но ненависти к вам не

испытываю. Не повезло... Я всегда числился у жизни неуспевающим учеником. Мои сверстники давно занимают высокие должности, а я прозябаю в каком-то заштатном музее. Мне никогда не везло. Те, кого любил я, любили других, те, кого я ненавидел, не обращали на меня внимания... Жизнь шла мимо меня, Зыкин, она проходила мимо в пестром облике беззаботных интуристов, преуспевающих идиотов, в облике всех тех, кому везло...»

И вот в музей пришло письмо Карониной. Вероника Семеновна, как обычно, зарегистрировала почту и отнесла все в кабинет Сикорского. Регистрировала письма она весьма оригинальным способом: записывала в книгу первые слова послания и ставила на нем входящий номер. Некоторые письма читала, но вообще-то эту работу предпочитала предоставлять директору.

Это письмо было написано человеком, привыкшим к иголке, а не к перу. Кроме того, старуха, как правильно отмечала ее племянница, была «повреждена в уме». Только при внимательном чтении можно было понять, что речь в нем идет действительно о чем-то важном. В последних строках старуха приглашала кого-нибудь навестить ее.

Сикорский пожал плечами, но к старухе все-таки сходил в тот же день. Он был настроен скептически, а старуха была полубезумной. Она бормотала об «Алешкиных миллионах», о какой-то «похоронке», чему-то смеялась. Потом вытащила из-под изголовья кровати грязный фанерный ящичек и, заявив, что он сам найдет дом, потребовала оставить ее в покое, поскольку она «знать ничего не знает».

Он вернулся в музей и в своем кабинете вскрыл ящик. Там был альбом, несколько книг, кожаный кошелек, в котором лежал золотой кружалош и какой-то длинный болт толщиной с палец. Болт был засунут в брезентовый чехольчик. Сикорский задумчиво перелистывал альбом, когда к нему в кабинет заглянул Астахов. «Что это?» — спросил художник. «Алешкины миллионы», — усмехнулся Сикорский. «А ведь болтик сюда не зря положен», — медленно произнес Астахов.

Они поглядели друг на друга. Сикорский не любил Астахова. Причиной была Лира Федоровна. Но в этот момент мысли о Лире отошли на второй план. В этот момент они поняли, о чем думают оба... Они не знали тогда, о каких миллионах говорила старуха. В их головах ни старуха, ни вещи, полученные от нее, не ассоциировались с княгининой коллекцией. Имя «Алешка» им тоже ни о чем не говорило. Сикорский полистал книги. На титульных листах были надписи, сообщавшие о том, что книги принадлежали Алексею Аркадьевичу Васильеву. Одна из них повествовала о похождениях капитана Хватова, три других являлись сочинениями В. Дала, казака Луганского. Кто такой Алексей Аркадьевич Васильев, ни Астахов, ни Сикорский не имели понятия. Золотой бракетат намекал на существование какой-то заозерской Голконды. Болт в порыве брезентовом чехле тоже наводил на размышления. «Это надо разжевать», — сказал Астахов, подкидывая на ладони золотой кружочек. Потом он положил бляшку в карман. «А книжку почитаю», — заявил он, кивнув на повесть о капитане Хватове. Сикорский оставил у себя болт, альбом и остальные книги.

Так была достигнута договоренность. Произошло это двенадцатого апреля. Уходя из музея, Сикорский заглянул к Веронике Семеновне и вскользь поинтересовался, читала ли она утреннюю почту. Она ответила отрицательно. Но вопрос ей запомнился. На другой день Сикорский возвратил Веронике Семеновне все письма, полученные накануне. Листка с каронинскими каракулями среди них не было. Взамен был положен другой листок под тем же входящим номером, но с иным текстом, сочиненным Астаховым. Текст открывался теми же словами, что и письмо старухи.

Трест кладоискателей приступил к работе.

О княгине они еще не думали.

На титульном листе повести о капитане Хватове, кроме имени владельца книги, была указана и улица. Найти бывшую Песчаную слободу не составляло труда. Но дом? Сумасшедшая старуха, отдавая альбом, утверждала, что «дом тут». В альбоме был представлен старый Заозерск. Были и портреты. Но половину его занимали фото улиц, церквей и особняков. Который же?

Они терялись в догадках и не знали, что предпринять. Идти к старухе вторично Сикорский не решался. А Голконда манила. Астахов стал даже подумывать о сбыте еще не найденного сокровища. Он вспомнил мальчишка с дельфином, о котором ему как-то рассказывала Лира. Мальчишка мог пригодиться — он плавал в чужих морях.

Сикорский поглядывал на интуристов, приходивших в музей полюбоваться первородным грехом. Интуристы тоже могли пригодиться.

Десятого мая Лира крупно поговорила с Астаховым. Во время разговора она держала в руках книгу о капитане Хватове. Астахову показалось, что она заинтересовалась надписью на титульном листке. Когда Лира ушла, он вырвал этот лист и сжег.

Тринадцатого мая Сикорский отправился к старухе за дополнительными разъяснениями. У дома стояла машина «Скорой помощи». Врач что-то говорил суровой племяннице. Сикорский догадался, что именно он говорил ей, и прошел мимо дома, не останавливаясь.

17 мая Астахов обнаружил, что исчезло старухино письмо, которое он таскал с собой. Он решил, что письмо взяла Лира. «А ты штука», — сказал он ей на вокзале. Разъяснять эту фразу он не стал, потому что не был уверен в справедливости своего подозрения. В этот же день он забрал альбом у Сикорского, чтобы «покумекает над ним», как он выразился.

Он «докумекал». Ему пришло в голову вытащить все фотографии из гнезд. На одной из них на оборотной стороне было написано: «Боров. Вторая выюшка. Снять кирпичи».

Клад существовал. Астахов дрыгал ногами, удивляя Канда-раки, мывшую пол. Когда она ушла, он напился и плясал на фотографиях, разбросанных по полу. Потом собрал их и растолкал по местам. Одна карточка осталась валяться возле кровати. Утром в субботу он сунул ее в книжку о капитане Хватове.

18 мая он пришел в музей, и они с Сикорским обсудили ситуацию. Дом с кладом был Астахову знаком. И Витя Лютиков был тоже знаком. Альбом Астахов оставил у Сикорского.

19 мая утром Астахов пригласил Витю в ресторан и намекнул на выгодное дело. Витя поинтересовался, не опасное ли оно. Астахов сказал, что опасности никакой нет, но зато будет много удовольствия. «На, поддержи, — засмеялся он и перебрал Вите через стол золотой бракетат. — Можешь оставить на память, — добавил он. — А вечером загляни по этому адресу, обговорим детали». Он назвал адрес Сикорского, и они расстались. Потом Астахов звонил Вале. Его беспокоило исчезнувшее письмо. Ему хотелось выяснить, не рассказывала ли ей что-нибудь Лира. Он уговорил Валу зайти к нему в понедельник.

Вечером кладоискатели встретились на квартире Сикорского. Пили ром, который незадолго до первомаяских праздников Сикорский привез из Москвы. Астахов снова напился, и на этот раз так, что земной шар со всеми закопанными, замураванными и утопленнымикладами выкатился у него из-под ног.

Они наметали произвести выемку во вторник. Витины родители были в отъезде. Сикорский должен был прийти с совещания, Астахов со своей квартиры.

В понедельник Астахов не появился в музее. Сикорский забеспокоился и в обеденный перерыв поехал к нему. Еще не дойдя до подъезда, он все понял. Альбом и болт лежали у него в портфеле, и он подумал, что в сущности ничего не потеряно. Потом он подумал о Лире. Ему захотелось сообщить ей о смерти Астахова, и он зашел на почту. Но, взяв в руки бланк, задумался. Астахов говорил ему об утраченном письме и о своих подозрениях. Он ушел с почты, постоял в раздумьи на улице, затем двинулся к располагавшейся неподалеку редакции газеты. Там его знали. Он прошел по коридору, заглянул в машинописное бюро. В комнате никого не было: машинистки ушли на обед. Он вставил бланк в машинку и напечатал текст телеграммы. Подписывать ее своей фамилией он не решился — мало ли что? Какое-то мгновение он сомневался: Лира не ладила с родителями, затем подписал телеграмму. Откуда ему было знать, что, отстукивая фамилию Казакова, он отстукивал одновременно и свой смертный приговор? Он отнес телеграмму: часовой механизм мины включился, чтобы сработать через «отмеренный судьбой промежуток времени». Это собственные слова преступника. Он считал, что коварная судьба подбросила ему мысль подписать депешу именем Лириного отца. Он вообще все хотел свалить на судьбу, даже убийство.

Утром во вторник он убежал с совещания — не сиделось, хотелось самому сообщить Вите о смерти Астахова и сказать, чтобы тот не пугался. Альбом и болт он держит при себе, в портфеле.

Он пришел к Вите. Было 10 часов. Валя Цыбина только что ушла. Витя уже знал все об Астахове, Витя трусил и скулил. Сикорский вынул из портфеля альбом и, положив его на столик, стал успокаивать парня. Он говорил о том, что милиции ни за что не добраться до клада и до Вити, что у Астахова не осталось ничего, что бы могло навести на след; он говорил, а Витя смотрел сквозь застекленную стену веранды в сад и повторял как попугай одну и ту же фразу: «Надо же так». И увидел меня...

Сикорский подхватил портфель и спрятался за дверь. Он задыхнулся от ярости, сообразив, что парень вот-вот проболтается.

В портфеле лежал болт в чехольчике.

И когда я шагнул к альбому, этот болт опустился на мою голову.

Витя закричал и повис на Сикорском.

Они покатались с веранды внутрь дома. И там Сикорский, оторвав от себя парня, измолотил его до смерти. А в дом забежала девушка. Сикорский был страшен в эту минуту. Он пошел на девушку, намереваясь прикончить и ее, но вдруг остановился. Девушка тихонько смеялась. Он посмотрел ей в глаза — и все понял.

Затем он взглянул на часы. В одиннадцать ему должны были вручить почетную грамоту.

Алиби!

Он сунул болт в портфель, бросил туда же альбом и ушел через сад. Бракетат остался в кармане Витиных джинсов. Девушка смотрела вслед убийце и смеялась.

Потом она убежала...

Ни в день убийства, ни через неделю Сикорскому не пришло в голову, что они наткнулись на княгинину коллекцию. Некогда ему было задуматься об этом. Лира не откликнулась на телеграмму, не явилась на похороны Астахова. Он не понимал, почему. Он позвонил Вале, он не боялся, что она узнает его по голосу — Валя никогда не разговаривала с Сикорским, слышала о нем только от Леры. Он задал ей вопрос про альбом. Валя ничего не сказала, повесила трубку. Это его насторожило. Он навел справки о той девушке и узнал, что она лежит в больнице. С этой стороны опасаться

было нечего. Но в руки следствия попал брактееат. Сикорский струнул. А тут еще Лира Федоровна прислала заявление об увольнении. Это было странно и необъяснимо.

Я заговорил с ним о Бакуеве. Это тоже показалось ему странным. И, рассказывая мне о незадачливом искателе, Сикорский вдруг что-то заподозрил.

Его подозрения усилились, когда, случайно увидев меня поздно вечером возвращающимся от Вали Цыбиной, он понял, откуда я шел. Случайно. А может, в этой случайности была некая закономерность. Потому что наши дорожки пересекались все чаще.

Портрет княгини хранился в запаснике. Но посвящать в свои дела Веронику Семеновну было нельзя.

В его сейфе еще со времен Ребрикова лежали какие-то ключи. Один из них подошел к двери запасника. Все остальное проделать было легко.

На портрете княгини стояли инициалы «А. В.». Сикорский пришел в ужас. Повинуясь первому побуждению, он сколупнул краску с углка портрета. Бакуевскую папку он взял с собой.

«Мне не надо было брать эту проклятую папку,— писал он.— Но я хотел окончательно убедиться, что мы наткнулись на княгинин клад. Я убедился в этом. Я стал понимать, что вы, Зыкин, приглядываетесь ко мне. Вторая моя ошибка—возврат папки на место. Мне казалось, что я обменял себя. Когда же я увидел вас стоящим в раздумье у церковной ограды, я сообразил, что проиграл. Я всегда опаздывал, Зыкин. Я опоздал убить вас. И, пожалуй, только об этом и

жалею. Теперь вы стоите перед моим трупом. Смотрите на него, любуйтесь...»

— Вот сволочь,—пробормотал Лаврухин, бросая письмо на стол.

— Кто бы мог подумать...

Сикорский повесился в кухне на веревке, укрепленной на газовой трубе.

На столе стояли две бутылки из-под водки. Бурмистров листал альбом. Петя Саватеев вертел в руках болт, пытаясь, вероятно, умозрительно постичь его назначение.

— Мне не следовало заговаривать с ним о письмах,— сказал я.

— Чуть все это, Зыкин,—убежденно возразил Лаврухин.— Он еще вон когда понял, что влип. На него твоя физиономия действовала... Ты вот лучше скажи, где письмо Карониной?

— Потеряли, наверное,—откликнулся Бурмистров.— Астасов этот был безалаберным субъектом. Ну, что же, будем изымать?

Через два дня Наумов уезжал домой.

— Почему вы обрадовались, когда услышали о пропаже бакуевских бумаг?—спросил я.

Он смутился, потом признался, что просто ему было противно видеть мрачную физиономию Сикорского. Наумов сказал, что этот человек всегда был ему антипатичен. И Лире тоже. Что-то в нем не нравилось им, но что—они не понимали.

— Лучше поздно, чем никогда,—сказал я,—и все-таки мне надо было задать этот вопрос тогда же.

— Тогда я вам на него ответил бы иначе.

Вот как. Если бы Валя Цыбина в день нашей первой встречи назвала имя Вити Лютикова, то он сейчас был бы жив. Она не захотела.

Перед самым отъездом Наумова мы зашли с ним в музей, чтобы еще раз взглянуть на фрески. Клад был извлечен. Коллекцию луноликих красавиц с газелями, печальные глаза которых напоминали глаза княгини Улусовой, Алеша Васильев замуровал в основание печного борово. Тайник был устроен капитально и хитроумно. Нужно было снять верхнюю вьюшку, затем разобрать часть кладки внутри борово. Под кирпичами лежала железная плита с отверстием посередине. В это отверстие заворачивался болт и превращался в своеобразную ручку. Плиту, таким образом, было легко поднять, и под ней открывался тайник.

И красавицы и газели хорошо сохранились. Но меня они не волновали, мне почему-то неприятно было смотреть на них. От этих красавиц пахло кровью, страданиями и еще черт знает чем, как иногда говаривает Лаврухин.

Каждая картина была обернута в бумагу. Листки были исписаны. Чернила выцвели, бумага пожелтела. Но Наумов сразу узнал почерк Алеша Васильева. Судя по всему, это были листки из его дневника. И у Наумова зародилась надежда обнаружить в этих записях хоть какие-нибудь указания на то, где искать имя гениального художника-самоучки, жившего в восемнадцатом веке.

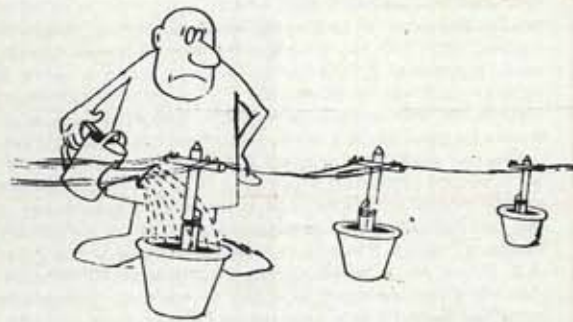
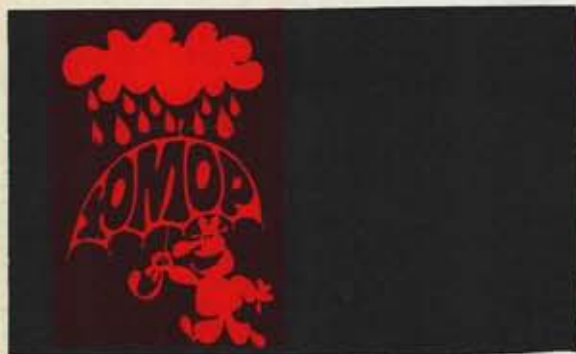


Рисунок Валерия АШМАНОВА



Рисунок Леонида ТИШКОВА



Рисунок Михаила БЕЛОВА

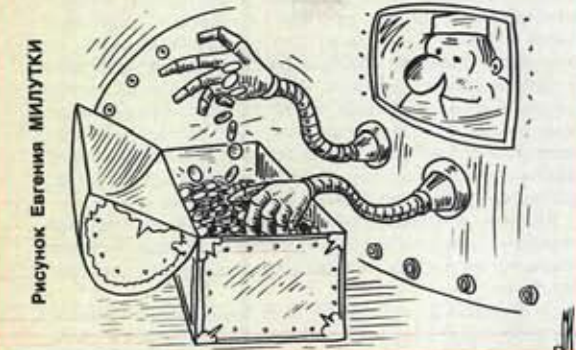


Рисунок Евгения МИЛУТКИ

ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ

Под редакцией заслуженного тренера РСФСР Виктора ЛЮБЛИНСКОГО

ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ

НАШ КВИНТЕТ НА СТАРТЕ

Мы уже рассказали читателям о четырех советских шахматистах, выступавших в июне в межзональном турнире личного первенства мира на Филиппинах. Месяцем позже в Швейцарии возьмет старт другой межзональный турнир, где нашу страну представляет гроссмейстерский квинтет в составе рижанина Михаила Таля, воронежца Геннадия Кузьмина, москвичей Тиграна Петросяна, Ефима Геллера и Бориса Гулько.

Из пятнадцати соперников нашей прославленной пятерки выделяются гроссмейстеры Лайош Портиш (Венгрия), Роберт Хюбнер (ФРГ), Энтони Майлс (Великобритания), Ульф Андерссон (Швеция), Вольфганг Ульман (ГДР), Бент Ларсен (Дания), Роберт Хюбнер (ФРГ) и другие.

Приводим запоминающиеся фрагменты творчества двух молодых участников июльского межзонального сражения.

Перед вами положение фигур, создавшееся в партии матча СССР—Югославия между Г. Кузьминым и Миланом Матуловичем. Очередь 22-го хода за белыми, которыми играл советский шахматист. Он приступает к длительному штурму на королевском фланге



и вскоре ради инициативы жертвует пешку.

22. g3—g4! e6—e5 23. g4—g5 Cf6—d8 24. Kpg1—h1 e5:f4 25. Ce3:f4 f7—f6 26. g5—g6! h7:g6.

Югославский гроссмейстер явно недооценивает атакующий потенциал противника, иначе он попытался бы наладить оборону посредством 26...h6, что препятствовало вскрытию магистралей, столь желанному для белых, жаждущих быстрого развития наступательных действий.

27. Ff2—g3 Kd4—e2 28. Fg3:g6 Cd7—c6 29. Lb1—e1 Ke2:f4 Fc7—f7 31. Fg6—g3 Lf8—e8 32. Kf4—g6 Cd8—c7.

Теперь следует один за другим ряд тактических ударов, в результате чего король черных оказывается в большой опасности.

33. Lf1—f5! d6—d5 34. e4—e5! Ff7—d7 35. Fg3—h3! Cc7—e5 36. Le1—e5! d5:c4 37. Fh3—h8+ Kpg8—f7 38. Fh8—h5! Kpf7—g8.

Черные сумели уйти от угрожавшего им двойного шаха. Однако белые находят необычайно красивую комбинацию, форсированно ведущую их к победе.

39. lf5:f6! Cc6:g2+ 40. Kpg1:g2 Fd7—d2+ 41. Lf6—f2 Fd2—h6 42. Kg6—e7+ Kpg8—h8 43. Lf2—f6! Le8:e7 44. Lf6:h6+, и белые сложили оружие.



К такой позиции пришла после 16-го хода черных гроссмейстерская дуэль на международном турнире в Амстердаме между У. Андерссоном и Я. Смейкалом (Чехословакия).

Поучительно проследить, как изобретательно и энергично развивает атаку игравший белыми шведский шахматист.

17. La1—a7! Kph8—h7 18. Fb3—a2 Cc8—g4 19. Lf1—e1 Ke7—f5 20. c4—c5 Cg4:f3.

В трудной ситуации черные сохраняют самообладание и стараются найти встречную игру. Они заметили, что вариант 20...dc 21. K:e5 C:e5 22. C:e5 fg 23. hg Kd6 не сулит им ничего путного.

21. e2:f3! d6:c5 22. Fa2—c4 Kf5—d4 23. Cb2:d4 e5:d4.

Черные ставят капкан—24. F:c5? Lf5,—который противник умело обходит, отказываясь взять «отравленную» пешку.

24. Cg2—h3! f4:g3 25. h2:g3 Fd8—g5 26. Cb3—g2 Lf8—e8 27. Le1:e8 Lb8:e8 28. f3—f4 Le8—e1+ 29. Kpg1—h2 Fg5—g4 30. La7—a8! Fg4—e2.

Хотя белые достигли большого преимущества, острота на «поле боя» еще сохранилась. В цейтноте оба партнера обмениваются «любезностями». Сперва У. Андерссон допускает просчет, а затем Я. Смейкал.

31. Kd5—c3? Fe2—e6? У белых был прекрасный ход 31. La2! Черные же прошли мимо скрытой возможности ценною ферзя объявить «вечный шах» 31...Kf6!!

32. K:e2 Kg4+ 33. Kph3 K:f2+ 34. Kph2 (или 34. Kph4 Cf6X) Kg4+ и т. д.

32. Cg2—d5! Fe6—e7 33. Cd5—g8+ Kph7—h8 34. Cg8—h7!, и перед лицом неотвратимого ата черные сдались.

С НЕОБЫЧНЫМ УСЛОВИЕМ

Кроме задач на кооперативный мат, существуют еще композиции на обратный мат. В них обычно начинают белые и заставляют черных в обусловленное число ходов дать мат белому королю. Предлагаем читателям «Смены» решить одну такую задачу.



Обратный мат в два хода.

Наш адрес: 101457, ГСП, Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Телефон для справок: 253-30-87. Рукописи, фото и рисунки не возвращаются.

Сдано в набор 18/V 1976 г. А 00924. Подписано к печати 1/VI 1976 г. Формат 70×108 1/4. Усл. печ. л. 5,60. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 1200000 экз. Изд. № 1534. Заказ № 2286. Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865 Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24

ТЫ САМА ПРИДУМАЛА

Слова
Михаила ПЛЯЦКОВСКОГО
Музыка
Вячеслава ДОБРЫНИНА

Это просто кажется день невезучим,
Это просто кажется хмурым рассвет.
Ты сама придумала темные тучи,
Ты сама придумала то, чего нет.

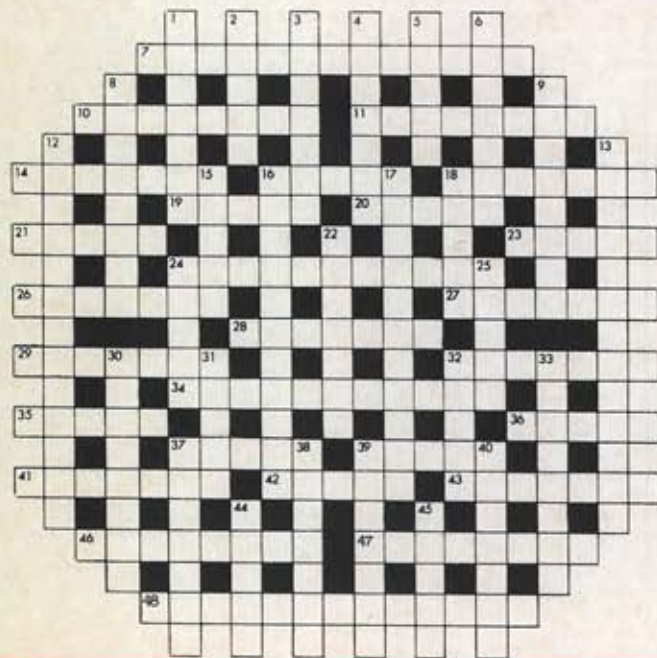
Вьюгу ты придумала вдруг среди лета,
И мороз нагрянул за вьюгой вслед.
Но, как прежде, кружится наша планета—
Ты сама придумала то, чего нет.

Дома в одиночестве зря не сиди ты,
Лучше из окна мне засмейся в ответ.
Лучше будь веселой, чем злой и сердитой,
Ты сама придумала то, чего нет.

Ты своих соперниц придумала тоже,
А любви нам хватит на тысячу лет:
Не встречал других я нежней и дороже—
Ты сама придумала то, чего нет.

КРОССВОРД

Составил Л. ЛОКТЕВ,
г. Душанбе



По горизонтали:

7. Теплообменное устройство атомной электростанции.
10. Река в Индии.
11. Специалист, изучающий водные пространства Земли.
14. Роман О. Гончара.
16. Единица веса драгоценных камней.
18. Объединение профессорско-преподавательского состава вуза.
19. Мяч для игры в бадминтон.
20. Духовой инструмент народов Кавказа.
21. Радиоактивный элемент.
23. Дикий бык.
24. Кормовой злак.
26. Город в Индии.
27. Народный артист СССР.
28. Река во Франции.

29. Пространная речь действующего лица пьесы.
32. Оперная трилогия С. И. Танеева.
34. Поэма Н. А. Некрасова.
35. Произведение киноискусства.
36. Способ спортивного плавания.
37. Русский архитектор XIX века.
39. Работа на судне, выполняемая всей командой.
41. Радиоактивный металл.
42. Газета, основанная В. И. Лениным.
43. Русский поэт.
46. Северная ягода.
47. Высшее научное учреждение.
48. Процесс получения высокомолекулярных веществ.

По вертикали:

1. Советский космонавт.
2. Народный поэт Белоруссии.
3. Южная водоплавающая птица.
4. Столица социалистической республики в Европе.
5. Морская промысловая рыба.
6. Река в США.
8. Героиня романа Л. Н. Толстого.
9. Декоративный злак.
12. Машина, используемая на покосе трав.
13. Академик, Герой Социалистического Труда.
15. Кулинар.
16. Персонаж оперы Д. Пуччини «Тоска».
17. Народная артистка СССР.
18. Болотная птица.
22. Человек с выдающимися способностями.
24. Спортивный приз.
25. Остров близ Неаполя.
30. Морской головоногий моллюск, спрут.
31. Деревянный духовой инструмент.
32. Обширное водное пространство.
33. Персонаж романа К. Сименова «Солдатами не рождаются».
37. Вид графики.
38. Восточная фантазия М. А. Балакирева.
39. Город в Краснодарском крае.
40. Государство в Западной Африке.
44. Итальянская сосна.
45. Рыба семейства карповых.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 12

По горизонтали:

5. «Запорожец».
6. Перпендикуляр.
9. Клетчатка.
12. Крохаль.
13. Австрия.
14. Элита.
16. Чистополь.
17. Агрономия.
18. Кедровник.
20. Автопилот.
21. Норка.
22. Кампис.
24. Литовка.
25. Кундрючья.
26. Талантливость.
27. Полевской.

По вертикали:

1. Рашпиль.
2. Копнитель.
3. Доминанта.
4. «Дедушка».
6. Психотерапевт.
7. Растворимость.
8. Архипелаг.
9. Клоповник.
10. Автономия.
11. Пикировка.
14. Эллин.
15. Агава.
19. Кондотьер.
20. Актюбинск.
23. Суханов.
24. Лыновод.



Может ли печка стать объектом искусства?

В этом вопросе нет никакого подвоха, ответим сразу: может. Но чтобы поставить все на свои места, спросим, однако, что можно сказать о печке средствами пластического искусства?

Мы знаем: размышляла ли по этому Зинаида Дурова, будучи ученицей Рижского училища прикладного искусства, но то, что почти каждая ее работа несет на себе зримую печать мысли, очевидно.

Итак, печка. Перед нами декоративная композиция из шпота. Но сюжет и материал бесспорны. А эта печка говорит? Почему?

СОСУДЕ ДЕКОРАТИВНОЙ «КОВЧЕШКА»

ИЗ ОГНЯ И КАМНЯ

ПЕЧКУ

ЧАСТЬ ЭКСПОЗИЦИИ «ИСКУССТВО»



Просто художница заставляет нас взглянуть на нее иначе, совсем не так, как мы привыкли смотреть. Для этого у нее есть свои и, как оказывается, действенные средства. Привычные, знакомые нам формы она перерабатывает таким образом, что ее «Печка» оказывается столь же далекой от унылого копирования природы, как и от самоцельного «астроговорения» от нее. Здесь работает то самое «чутье», которое и делает искусство. Пропорции несколько вытеснены, поверхность едва возмущена. Легкая, в одно касание кисти прозрачная роспись, импровизированные петля сказочных фигурок и цветков как бы одухотворяют, небольшую декоративную композицию, сорбшая ей живую трепетность. И вот цель достигнута: обыкновенная русская печка оборачивается к нам своим, главным, глубинным смыслом. Теперь это уже не предмет и не декоративная табличка (хотя все это строго говоря остается на своих местах), а явление части нашей жизни. За ней — истории, едва ли не от самых истоков фольклор, сказочная народная фантазия, быт народа, правды, ки, аромат... Словом, все то, что помог нам увидеть и почувствовать художник. Пока для привычного в новом ракурсе.

В том, что делает Зинаида Дурова в керамике, заметен некий полемический подход к искусству. Он проявляется в какой-то приземленности, в выборе нарочито простых вещей. Она утверждает, что вовсе не обязательно искать поэзию в облаках или за чертой горизонта. Достаточно на самые обыкновенные вещи посмотреть не скользящим взглядом, а попытаться проникнуть в глубь предмета. И в этом смысле характерен ее «Натюрморт с манекеном».

Композиция из более чем разнородных предметов — швейной машинки, катушек, манекена — не только красиво смотрится, но и открывает, что все находящееся в орбите человеческой жизни и служащее человеку, имеет свою внутреннюю красоту. Выпить ее и показать — задача художника. Вот почему следы на этой несоборной с первого взгляда натюрморт мы чувствуем, что хотел сказать художник, всякий труд высоко поставлен, какие бы прозаические предметы он ни создавал.

Алексей НИКОЛАЕВ



БЛИЗО НАСТЕННОЙ ПЕЧКИ



КОМПОЗИЦИЯ «ЛОСЬ»



ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ НАРОДНЫЕ МОТИВЫ

